



ВЯЧЕСЛАВ  
ШЕСТАКОВ

# ПОДЪЕМЫ И ПАДЕНИЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛИЗМА В РОССИИ

МОИ ВОСПОМИНАНИЯ

Вячеслав Шестаков

**Подъемы и падения  
интеллектуализма в  
России. Мои воспоминания**

«Нестор-История»

2015

УДК 82-94  
ББК 84(2Рос=Рус)

**Шестаков В. П.**

Подъемы и падения интеллектуализма в России. Мои  
воспоминания / В. П. Шестаков — «Нестор-История», 2015

ISBN 978-5-4469-0622-2

В настоящей книге автор, описывая свою жизненную и научную биографию, анализирует потенциал интеллектуальной мысли в России, описывает ее спады и подъемы, достижения и утраты. Книга рассчитана на читателей, которые интересуются жанром мемуарной литературы.

УДК 82-94  
ББК 84(2Рос=Рус)

ISBN 978-5-4469-0622-2

© Шестаков В. П., 2015  
© Нестор-История, 2015

## Содержание

Предисловие	6
История и память	8
Убитое войной детство	12
Московский государственный университет	16
«Советская энциклопедия»	30
Лекции, студенты и университеты	33
Российская академия художеств	39
Институт философии: судьбы философской мысли в России	43
Беседы с А. Ф. Лосевым	45
Конец ознакомительного фрагмента.	49

**Вячеслав Шестаков**  
**Подъемы и падения интеллигентизма**  
**в России. Мои воспоминания**

© Вячеслав Шестаков, 2015

© Издательство «Нестор-История», 2015

\* \* \*

## Предисловие

В 2008 г. я уже публиковал мемуары, пытаюсь рассказать о своей более или менее сознательной жизни, начиная с поступления в МГУ. Для заголовка я взял слова из песни Булата Окуджава «А прошлое ясней, ясней, ясней». Боюсь, что он оказался чересчур оптимистичным для следующего десятилетия, о котором я сейчас пишу: сегодня прошлое становится всё более туманным, а будущее вообще теряется из виду. Я никогда не вел дневник, не сохранял важных писем. Поэтому опираюсь в своих воспоминаниях главным образом на память и отчасти на свои прежние публикации.

Я не собирался возвращаться к воспоминаниям, но судьба готовила мне нечто иное. Во-первых, изменилась сама страна, она превратилась в дагерротип известного романа Оруэлла «1984». Во-вторых, моя профессия философа и историка искусства, профессия сугубо гуманитарная, потеряла в современной России престиж и признание. Этому способствовала, в частности, политика Министерства культуры, уничтожившего несколько гуманитарных научных институтов, которые почему-то показались министру культуры Владимиру Мединскому лишними. И поскольку я участвовал в борьбе за эти институты, я оказался свидетелем безжалостного уничтожения лучших традиций русской культуры, в которой прежде всегда высоко ценился интеллектуальный труд. Мой долг перед молодым поколением – рассказать об истории уничтожения этих научных институтов и о тех людях, которые совершили этот акт вандализма.

Я занимался научной и издательской деятельностью более пятидесяти лет. Мои книги хорошо читались и продавались, положительными рецензиями я тоже не был обойден. Казалось бы, работа и жизнь ученого продолжилась и в новых условиях, когда интернет стал конкурировать с книгой. Но вот наступил несчастный 2012 г. Министерство культуры возглавил Владимир Мединский, и оно стало заниматься реформой научных учреждений, с культурой и искусством связанных. Поначалу появилась безумная идея все институты «слить» в один и до предела сократить. Потом была использована другая тактика, тактика запугивания и шантажа сотрудников, которую искусно использовал любимец Мединского П. Е. Юдин, человек без научного образования, опыта, знаний, далекий и, как оказалось, враждебный культуре. Эта тактика оправдала себя. Юдин в короткий срок, пользуясь поддержкой министерства и лично своего покровителя Владимира Мединского, уничтожил Российский институт культурологии, в котором я проработал более десяти лет. После этого он стал директором Института культурного и природного наследия. В этом качестве он продержался недолго. Вскоре Юдина сняли с директорского поста, и следы его затерялись, но, я думаю, ненадолго. Он себя еще покажет...

По указанию Мединского я тоже лишился работы, так же как и мои коллеги по сектору и многие другие сотрудники моего института. В своих воспоминаниях я хочу показать трагедию культуры, которая оказалась слишком ранимой и, по сути дела, бессильной перед напором агрессивной власти. Не случайно так много деятелей культуры вынуждены были эмигрировать из России, чтобы сохранить свой талант и независимость от вульгарных чиновников. О судьбе искусствоведов-эмигрантов в XX в. мне приходилось писать в книге «Трагедия изгнания». Похоже, что сейчас наступает второй акт этой трагедии.

Кроме того, в этой книге я расширил воспоминания об alma mater – Московском государственном университете им. М. В. Ломоносова, в котором я учился на двух факультетах – философском и историческом. В настоящее издание я включил воспоминания о Серебряном веке – о Сергее Дягилеве, о журнале «Мир искусства», о влиянии русской культуры на искусство и культуру Западной Европы. В этом влиянии я убеждался, посещая Англию, знакомясь с наследием Людвиг Витгенштейна, Джона Мейнарда Кейнса и его окужения, с русскими учеными и писателями в Америке и т. д. Я вспомню крупнейших русских ученых и деятелей культуры, с которыми мне приходилось встречаться и работать, – А. Ф. Лосева, В. Ф. Асмуса,

В. Н. Лазарева, В. П. Зубова, М. А. Лифшица, А. А. Аникста, Э. В. Ильенкова, М. К. Мамардашвили, Б. Ш. Окуджава, М. Таривердиева, И. Смоктуновского и др. Всё это поколение внесло огромный вклад в отечественные науку и культуру. Сегодня все они ушли от нас, и мой долг – вспомнить о них, воздать должное их трудам и талантам.

В своих воспоминаниях я обращаюсь и к выдающимся ученым и художникам западной культуры, с которыми я встречался или писал о них книги: американцам – психологу Рудольфу Арнхейму, антропологу Маргарет Мид, художнику Эндрю Уайезу, кинорежиссеру Френсису Копполе; англичанам – историку искусства Эрнсту Гомбриху, профессору Ричарду Кейнсу. Мне многое дала работа в архивах поэта Дилана Томаса, философа Людвиг Витгенштейна, экономиста Джона Мейнарда Кейнса, историка и государственного деятеля Уинстона Чёрчилля. О Чёрчилле, Кейнсе и Гомбрихе мной написаны биографические книги, в которых я попытался раскрыть неизвестные стороны их жизни и творчества.

Итак, я обращаюсь к своей памяти, надеясь, что с ее помощью смогу воспроизвести некоторые этапы моей жизни. Должен сказать, что время моей молодости было интересное, оно не было лишено значительных событий. В течение моей жизни мне посчастливилось встречаться и работать с выдающимися отечественными мыслителями, настоящей духовной элитой. Судьба русской культуры во многом зависит от того, сохраним ли мы память об этих людях. Именно поэтому мне хочется рассказать о них, об их жизни, трудах и увлечениях.

Воспоминания – жанр неустоявшийся, каждый пишет по-своему, или, как пел Окуджава, «каждый пишет, как он дышит». Актеры вспоминают роли, в которых они играли, поэты – стихи, ими написанные, режиссеры – фильмы, ими поставленные. Моя профессия связана с публикацией книг. Поэтому издания книг служат мне мерой и системой отсчета исторического времени. Конечно, в моих очерках фигурируют прежде всего разные люди, и разные географические места, и разные страны. Но вместе с тем я рассказываю и о моих книгах, и о идеях, с ними связанных. Так получилось, что за полвека я написал около 80 научных книг, которые до сих пор издаются и переиздаются. Судьба идей, их трансформация, их приключения, их связь с людьми, их рождающими, – вот главный сюжет предлагаемых мной очерков. В конце концов, прошлое и будущее зависит от судеб интеллектуализма. Конечно, экономика и уровень жизни играют свою роль, но история показала, что русский человек может выжить в самых трудных условиях физического существования. Но потеря интеллекта, деградация интеллектуальности грозит гибелью человечества, гибелью культуры. Россия испокон веков славилась своей интеллектуальностью, которая поражала западную культуру. Но за последние два десятилетия в России много сделано для истребления этого феномена. Если не остановить этот процесс, России останется только вспоминать о своем славном прошлом, утратив всякую надежду на будущее.

Главный предмет моих воспоминаний – середина прошлого столетия. Смерть И. В. Сталина и постепенная деградация советской системы производства, экономики и мышления открывали возможности для рождения новых форм социальной и интеллектуальной жизни. К сожалению, этим возможностям не суждено было сбыться. Сегодня Россия представляет собой провинциальную страну, утратившую свой интеллектуальный потенциал, сознательно отвергающую опыт европейской культуры, дрейфующую от Европы к военно-азиатским формам общества. Из страны постепенно выветрился технический и гуманитарный потенциал, образование и культура были отданы в руки малообразованных и неспособных к творчеству людей. В этом смысле культура 60-х гг. прошлого века с ее поисками, борьбой с тупостью бюрократической прослойки общества была намного выше, чем современная культура мелко-технократического и бюрократического общества. Но, быть может, для молодого поколения воспоминания о прошлом послужат стимулом возрождения. Это слабая, но единственная надежда для возрождения России. Другого пути нет.

## История и память

Английский философ Людвиг Витгенштейн однажды отметил парадокс времени, заключающийся в том, что чем дальше мы удаляемся от определенной эпохи, тем ближе и понятней она нам становится. *«Быть может, цивилизация когда-нибудь породит культуру. Когда это произойдет, случится действительное открытие XVIII, XIX и XX столетий, которые вдруг окажутся глубоко интересными и значительными»*<sup>1</sup>.

Быть может, так обстоит дело с историческим временем. Что касается индивидуальной памяти, то она менее совершенна, менее объективна, а, напротив, зачастую капризна, субъективна. Не случайно ее часто сравнивали с камерой-обскурой. В ней что-то выплывает на передний план, а что-то остается в тени, в темноте, на самом дне подсознания, под тяжестью известных фрейдистских или еще каких-то иных комплексов.

Потребность припоминать свой жизненный опыт возникает с возрастом. В молодости мы редко храним воспоминания, надеясь, что жизнь предоставит нам многообразие опыта и выбора. Но с возрастом человек пересматривает картину своей жизни, оценивает, правильно ли он поступил в тот или иной момент жизни. Случись что, совершенно по-другому прошла бы жизнь, да и ты сам стал бы другим.

Странная вещь – возраст. Сначала его нет или же представляется, что он принадлежит кому-то другому, но только не тебе. Долгое время кажется, что возраст – как плохая, дождливая погода, от которой можно отгородиться, спрятавшись под крышу или, на худой конец, под зонтик. Во всяком случае, твоя жизнь и твой возраст – это совершенно разные и даже несовместимые вещи. Ни твое чувство, ни твое настроение, ни физическое ощущение от возраста не зависят. Когда ты молод, ты можешь быть мудр не по возрасту, а если ты полагаешь, что мудр в своих суждениях или писаниях – то это не заслуга возраста, а твоя собственная.

Не знаю, как долго жили древние. Если судить по Гомеру или Библии, то довольно долго, но быть может, у них было мифологическое время, которое не совпадает с нашим. Но, во всяком случае, у них было почтение к пожилому возрасту. Пожилых слушались, от них ждали мудрого слова, итогов жизненного опыта. Старость была почтенна, более того, она была желанна. Цицерон в трактате «О старости» перечисляет достоинства, которыми обладает старость по сравнению с молодостью: никаких забот, увлечений, комплексов неполноценности, всего того, чем так отягощена молодость. Правда, в античные времена выживаемость пожилых людей была намного выше, чем в наше время. Наверное, пенсионная система была более совершенна.

По нашим меркам, Моцарт и Пушкин умерли молодыми. Наше сознание охотно мирится с датами их смерти. Трудно представить, чтобы случилось с этими гениальными художниками, если бы они дожили до старости. Не дай бог, растеряли бы свое жизнелюбие, отказавшись от грехов и надежд молодости.

Что делали в моем возрасте мои учителя и коллеги? Кажется, не очень многое. Асмус перестал писать и печатать свои работы, сосредоточившись на жизненных трагедиях переделкинского кружка с его любовными треугольниками и кантовским созерцанием звездного неба через телескоп. *«Звездное небо над нами, нравственный закон в нас»*, – так говорил великий философ. И Асмус следовал этому императиву. М. Ф. Овсянников до конца своих дней руководил кафедрой и дополнил свою любовь к философии любовью к фотографии. А. Ф. Лосев готовился к признанию своей гениальности, провозглашая с кафедры: «Вас приветствует умиравший Лосев». До самого смертного часа работал В. П. Зубов, пытаясь побороть роковую болезнь переводом Августина «De Musica» и оправдать тем самым идеалы стоической философии. М. А. Лифшиц работал много до конца своих дней, много печатал, был центром интел-

---

<sup>1</sup> Wittgenstein L. Culture and Values. Oxford, 1980. P. 64.



лектуальной деятельности, пока его не подвело сердце. Борис Шрагин и Мераб Мамардашвили до старости не дожили. Трудно представить, что жизнь этих выдающихся мыслителей нашего времени совпадала с описанием достоинств старческой жизни Цицероном. Так что брать пример и подражать образу жизни других людей далеко не всегда удастся. Надо ориентироваться исключительно на свой опыт, жизнь не принимает никаких подсказок. У каждого своя нить жизни, и нечего путать ее с чьими-то другими.

Мой хороший знакомый, с которым, правда, я встречался только один раз в Нью-Йорке, но впоследствии переписывался и переводил его книги, – американский психолог Рудольф Арнхейм, счастливо прожил долгую жизнь, целых 103 года. Из них 85 лет он занимался наукой, писал книги, статьи, рецензии, путешествовал по миру. Он замечательно сказал о возрасте: *«Возраст – это не причинный фактор и не свойство какого-то таинственного существа, это просто метр, с помощью которого измеряется время. Возраст в такой же мере ответствен за трудности последних лет, как и часы, висящие на стене»*<sup>2</sup>.

Правда, он добавлял: *«С возрастом нарушается гармонический контакт духа и тела, тело перестает подчиняться требованиям разума. Гармоническое единство тела и духа – это большая иллюзия, свойственная молодым и здоровым. Когда тело подвержено болезням или травмам, оно ведет себя довольно странно. Как редко оно разумно и с уверенностью следует требованиям ума! Оно часто подводит нас. К тому же мы часто совершенно не знаем, как защитить себя. Для этого надо призывать экспертов. А мы сами оказываемся совершенно бестолковыми»*.

Ирландский поэт Йейтс тяжело переживал уходящие годы. Он говорил, что *«старость – это эмиграция, когда собственная страна, как и любая другая, становится чужбиной»*. В одном из своих стихотворений он писал:

*Что мне делать с этим абсурдом,  
Я как карикатура во весь рост.  
Дряхлый возраст привязался ко мне,  
Как к собаке длинный хвост*<sup>3</sup>.

(Башина)

Мемуары – это попытка стимулировать свою память. Писать их непросто, так как нужно как бы заново переживать свою жизнь. В прошлом люди вели дневник, поэтому им легко было воспроизводить свое прошлое. В наше время мало кто постоянно ведет дневник, все мы страдаем от занятости, недостатка времени. И поэтому, садясь за воспоминания, полагаемся исключительно на свою память.

Что такое память? Оксфордский словарь указывает на несколько значений этого понятия. Одно из его значений – способность воспроизводить образы, ощущения или идеи, выработанные в прошлом. «Философская энциклопедия», в издании которой я принимал участие, рассматривает два типа памяти: индивидуальную память как способность индивида к сохранению и воспроизведению своего опыта и *машинную* (компьютерную) память. Когда я учился на философском факультете, я интересовался исследованиями памяти. Из зарубежных работ, посвященных памяти, я читал книгу Анри Бергсона «Память и материя». В этой работе французский философ выделяет два типа памяти: *физиологическую*, или двигательную, и истинную, *образную*, которая, по его мнению, определяет работу мышления. Большое значение для изучения роли памяти в процессе воспитания личности сыграли работы французского психолога Пьера Жана, который полагал, что память – определенный социальный способ приспособления

---

<sup>2</sup> Арнхейм Р. В параболах солнечного света. Заметки об искусстве, психологии и прочем. СПб., 2012. С. 54.

<sup>3</sup> И в одиночестве, и вместе. Семь английских поэтов XX века / Пер. В. Шестакова. СПб.: Азбука, 2005. С. 65.

к трудностям, которые преподносит нам изменчивое время. Жане считал, что изолированный от общества индивид вообще не обладает памятью, потому что он в ней не нуждается.

Современные психофизиологические исследования памяти во многом связаны с изучением локализации памяти в коре головного мозга. И хотя до сих пор не обнаружен какой-то центр мозга, отвечающий за работу памяти, известно, что в процессе научения и запоминания большую роль играет гиппокамп.

Следует отметить, что наряду с психологической, или индивидуальной, существует еще один тип памяти, который довольно редко становится предметом изучения, – историческая память. Об этой памяти мы ничего не найдем в психологических или физиологических исследованиях. И это вполне закономерно, потому что историческая память – функция культуры как мнемонического феномена, как системы, воспроизводящей прошлый опыт посредством традиций, обрядов морали. Искусство как область культуры и ее составная часть, очевидно, тоже может рассматриваться в качестве функции исторической памяти, как усвоение, запоминание и воспроизведение прошлого опыта посредством создания художественных образов.

Итак, можно говорить об индивидуальной и исторической памяти. Индивидуальная память может быть и у животных. Животные успешно запоминают прошлый опыт, они помнят место, где они живут, и способны возвращаться к нему, даже если их увозят за тысячи километров. Ученые считают, что некоторые животные, как, например, слоны, сохраняют память о своих предках – об этом свидетельствуют коллективные захоронения этих животных.

Но у животных отсутствует историческая память, эта память – исключительная принадлежность человека, о чем писал уже Аристотель в своем трактате «Память и воспоминание». Животное не запоминает свой родовой опыт. В своей работе «О пользе и вреде истории для жизни» Фридрих Ницше прекрасно показал отличие животной и человеческой памяти. Он считал, что память животного довольствуется ежеминутным, животное легко забывает прошлое и счастливо живет настоящим. Животное живет неисторически, оно растворяется в настоящем.

*«Человек, – писал Ницше, – удивляется также и самому себе, тому, что он не может научиться забвению. Он навсегда прикован к прошлому; как бы далеко и быстро он ни бежал, цепь бежит вместе с ним... Человек должен всячески упираться против громадной, всё увеличивающейся тяжести прошлого. Наше существование есть непрерывный уход в прошлое, т. е. вещь, которая живет постоянным самоотрицанием, самопожиранием и самопротиворечием»<sup>4</sup>.*

Поэтому, по мнению Ницше, история и полезна, и вредна для жизни, полезна – поскольку она облегчает понимание опыта прошлого, и вредна, поскольку она ослабляет жизненный инстинкт человека, привязывает его к прошлому, от которого он не может освободиться.

Историческая память – связующее начало между разными периодами или этапами времени, между прошлым, настоящим и будущим. На эту функцию исторической памяти указал Николай Бердяев в «Смысле истории». По его мнению, историческое время разорвано на три части, каждая из которых восстает одна против другой. *«Будущее восстает на прошлое, прошлое борется против истребляющего начала будущего. Исторический процесс во времени есть постоянная трагическая и мучительная борьба этих растерзанных частей времени – будущего и прошлого»<sup>5</sup>.*

Этот разрыв, постоянная вражда настоящего, прошлого и будущего происходит вечно. Преодоление этого разрыва, восстановление единства исторического процесса возможно только в исторической памяти. *«Память, – пишет Бердяев, – есть основа истории. Без памяти*

---

<sup>4</sup> Ницше Ф. О пользе и вреде истории для жизни // Сочинения: в 2 т. М., 1998. Т. 1. С. 162–163.

<sup>5</sup> Бердяев Н. Смысл истории. М., 1991. С. 189.

*истории не было бы. Всё историческое знание есть не что иное, как припоминание, как та или иная ее группировка, форма торжества памяти над духом тления»<sup>6</sup>.*

История предполагает наличие исторической памяти. Без этой памяти нет ни истории, ни культуры. Надеюсь, что мои воспоминания прольют свет не только на мой личный опыт, но и покажут судьбу моего поколения, его надежды, мечты, реальность и иллюзии.

---

<sup>6</sup> Там же. С. 90.

## Убитое войной детство

Я родился в городе Гайсине Винницкой области 20 октября 1935 г. Мой отец, Павел Георгиевич, родился в 1909 г. в Конотопе в бедной крестьянской семье. В юности он был простым пастухом. Затем поступил в Красную армию и стал профессиональным военным. Мать, Екатерина Яковлевна, происходила из крестьянской семьи, которая жила в Сибири.

Вообще-то детства у меня не было, если под детством понимать нормальные условия развития ребенка – игры, чтение детских книг, открытие мира. *«Детство – это царство, где никто не умирает»* – так называется стихотворение американской поэтессы Эдны Миллей. Мое детство пришлось на тяжелое военное время, когда смерть сопровождала меня и мою семью каждый день и каждую ночь. Войну мы встретили в городе Дрогобыче, на границе с Польшей, а в момент окончания Второй мировой войны я и моя семья оказались под Владивостоком, как бы перемахнув всю нашу необъятную родину. На это незапланированное путешествие ушло пять лет.

Хорошо помню первый день войны – 22 июня 1941 г. Тогда мне еще не исполнилось шести лет. Было раннее воскресное утро. Обычно, как я помню, воскресенье было праздником, отец приходил со службы, вся семья была вместе. Но в это воскресенье мы проснулись от гула самолетных моторов. Мы выбежали на балкон. Стрельбы не было. Был только слышен лай собак и рев самолетов с черными крестами на крыльях. Даже сейчас, через 70 лет, я отчетливо помню это зловещее небо. Самолеты летели так низко, что, казалось, с балкона нашей квартиры я видел головы летчиков в очках и черных шлемах. Самолетов было очень много, они закрыли собой всё небо. Но бомбежки не было.

Отец, собрав вещи, ушел на призывной пункт, и мы вновь увидели его только через четыре года. Моя мать, собрав в узелок нашу одежду, погрузила меня и мою сестру в товарный вагон, который шел на восток. Вагон до отказа был набит женщинами и детьми. Иногда налетали самолеты, начинался обстрел из пулеметов, поезд останавливался, и мы прятались под колесами вагонов. Так в течение нескольких лет мы двигались, переезжая из деревни в деревню, из города в город, с запада на восток. Вспоминать об этом времени тяжело – бомбежки, всполохи бомбовых разрывов, горячие, колющие осколки бомб, голод, холод. Местное население нам, беженцам, помогало как могло. Мы считались семьей военнослужащего, и нам полагалась помощь военных комитетов. Но что они могли нам дать? Я помню, что матери давали большие куски мела, который использовался для покраски сельских домов. Этот мел возили по деревням и меняли его на одежду и пищу. Это была наша единственная валюта, которая помогала найти пропитание. Почему-то в деревнях этого мела не было, и поэтому он обладал огромной ценностью. Нам он отбеливал невзгоды жизни беженцев. При этом я не помню, чтобы наша мать была в подавленном настроении. Она тратила все свои силы, чтобы спасти от плена и голода меня и мою сестру, и всячески поддерживала нас.

Я как-то умудрялся ходить в школу, но менял их раз за разом, потому что надо было бежать от немецкой армии. Поэтому в детстве у меня не было ни книг, ни игрушек. Лыжи мы делали сами, изгибая струганные доски в горячей воде, были и коньки, мы прикручивали их веревками к валенкам.

Самые страшные бомбежки мы пережили в городе Конотопе. Здесь фашистские бомбардировщики пытались уничтожить железнодорожный центр. Конотоп был нашей Хиросимой. Бомбы рвались вокруг, всюду были пожары. Не понимаю, как мы уцелели.

Более спокойной была жизнь в украинских деревнях. На Украине было много овощей, кукурузы, свеклы. В деревнях, где мы останавливались, были чистые и прохладные дома – мазанки. Около домов местные жители выкапывали землю и эти «копанки» наполняли водой. В жаркое время мы, мальчишки, проводили много времени, купаясь в этих рукотворных бас-

сейнах. Украинцы были приветливы и дружелюбны к нам. Украинское население очень помогало нам, беженцам, лишенным одежды, крова и хлеба, выжить и сохранить себя. Конец войны мы встретили в Харькове, где нам дали комнату в большом доме. Отапливалась она электрической спиралью, которая натягивалась на деревянный каркас.

В это время мне было уже 10 лет, и я всё чаще водился с уличными мальчишками. Я пропускал школу. На чердаке нашего многоэтажного дома мы срубали стропила крыши и продавали поленья на местном рынке, зарабатывая себе деньги на стакан семечек. О том, что крыша дома могла рухнуть, мы как-то не задумывались.

В 1944 г. мы наконец встретили отца, которого не видели с начала войны. Он служил в транспортных войсках. Помню поездку с ним в Саратов, где находился его батальон, купание на Волге. Помню последний день войны с Германией в Харькове, где с крыши дома мы, мальчишки, наблюдали за салютом из ракетниц и автоматов. В Харькове в то время было холодно и голодно.

В Харькове на разборе разрушенных зданий работали немецкие военнопленные. Их было жалко, и мы приносили им поесть свеклу, которую можно было найти на брошенных огородах.

А потом отца послали на вторую войну, уже с японцами. Мы переехали под Владивосток, на станцию Седанка на берегу залива Петра Великого. А отец опять ушел воевать, но на этот раз ненадолго. Дальше Маньчжурии наша армия не дошла, так как японские войска не могли оказать никакого серьезного сопротивления. Отец вернулся с трофеями – самурайским мечом и ярким шелковым кимоно.

Жизнь на Дальнем Востоке была раем после голодной и разрушенной европейской части России. Здесь было вдоволь рыбы, огромные порции красной икры, которую я, правда, ненавидел и отказывался есть. Хлеб надо было получать по карточкам, стоять в долгой очереди. Но можно было купить гаоян, из которого можно было варить сносную кашу. А потом нас стали забрасывать американскими продуктами, полученными по ленд-лизу, – банками с крабовыми консервами, белой, не виданной никогда в жизни мукой и молочным порошком, который можно было брать из банки прямо в рот и обязательно размачивать слюной, чтоб не задохнуться. Ничего более вкусного я до того времени никогда не ел.

Но самое главное заключалось в волшебной природе и мягком, субтропическом климате Приморья. С высокого берега вдаль в море виднелся остров с чудным названием Коврижка. Голубое, чистое море кишело рыбой и всяческой живностью. На берегу после прибою можно было встретить крабов, осьминогов, морских черепах и огромные кучи водорослей – агар-агара. Всё лето до самого конца октября я проводил в воде, купался, нырял, загорал на берегу. На небольших пологих сопках можно было найти ягоды, грибы, дикий виноград – кишмиш. На сопках надо было быть внимательными, порой здесь попадались небольшие, но ядовитые змейки. Весной, когда к берегу приходило первое тепло, вместе с ним приплывали тысячи медуз, больших и маленьких. Маленькие нещадно жалились, но ожог проходил через несколько часов. С большими нужно было обращаться осторожно, они были очень красивыми, многоцветными, но плавали в одиночку, так что их всегда можно было обойти.

В общем, после всего испытанного во время войны я впервые блаженствовал. Судьба с некоторым опозданием подарила мне несколько лет убитого войной детства. Школу я помню плохо, она была где-то далеко от нашего дома, надо было не меньше часа добираться до нее. Я тогда не знал такого слова, как «робинзонада», но когда я теперь вспоминаю этот краткий период моей жизни, мне на ум почему-то приходит именно оно.

Правда, война всё еще напоминала о себе. Я опять помню военнопленных, на этот раз японских. Они находились в лагере, но им позволяли свободно выходить из него в поисках пищи на берег океана. Тогда я удивлялся – что можно было найти на песчанном берегу? Я не знал, что пленные собирали наиболее полезную и здоровую пищу – креветки и водоросли.

Теперь такой обед в японском ресторане мне порой не по карману. Но в то время я не был знаком с японской кухней.

Помню, рядом с нами в поселке жило много корейцев. Они выращивали фантастические овощи у себя на огородах, но для этого они использовали нечистоты всех соседних общественных туалетов. Пестрое население поселка жило в дружбе, не было никаких национальных конфликтов или неравенства по принципу рождения.

Я жалею, что пришлось мало пожить в условиях дальневосточной «робинзонады». Но надо было учиться, а мои школьные занятия не были систематическими. За время учебы мне пришлось переменить 10–15 школ. Поэтому не было постоянных учителей, условия обучения были различными. Окончил я школу под Москвой, в городе Дмитрове, куда перевели служить отца. Здесь был хороший коллектив преподавателей, в особенности по литературе. В то время Дмитров был провинциальным городом с деревянными домишками со слепыми окнами. Задняя часть домов на улице, где я жил, выходила на канал Москва – Волга. По вечерам город казался пустынным. Единственным развлечением того времени были трофейные американские фильмы, которые поступали в прокат из захваченного нами немецкого киноархива. Эти фильмы у меня, да и не только у меня, создали первые представления о Голливуде, да и об Америке вообще.

Школа находилась в центре города, за высоким валом, окружающим древнюю часть города. Этот вал был длиной 980 м и высотой до 20 м, внутри него возвышался величественный Дмитровский собор. Школа стояла у самых его пределов. У нас были хорошие учителя, в особенности по литературе и истории. Летом можно было купаться в канале. Мы снимали деревянный дом на центральной улице города, недалеко от этого канала. Теперь его снесли, и город неузнаваемо изменился. В этом городе новая архитектура, новые улицы, спортивные сооружения. С мэром этого города, молодым человеком, я иногда играю сейчас в теннис. Но в Дмитрове по-прежнему много истории, славной – когда он был более значительным городом, чем Москва, и проклятой – когда Дмитров при советской власти стал центром ГУЛАГа, где на стройке канала гноили тысячи и тысячи людей.

Канал Москва – Волга соорудила армия заключенных, которая в 1937 г. насчитывала 192 тыс. подневольных рабочих. Помимо рецидивистов в ней находились политзаключенные – СОЭ (социально опасные элементы) и СВЭ (социально вредные элементы). Центром, где содержались заключенные, был Дмитрлаг, который помещался на территории бывшего монастыря, расположенного на окраине города Дмитрова. Я посещал этот огромный монастырь в 70-х гг., он поразил меня своими размерами. Но в конце 30-х гг. в монастыре было тесно – сюда свозили тысячи заключенных, которые получали высокое звание «каналоармейцев», но содержались как рабы. По сути дела, это была армия рабочих, построенная по образцу рабовладельческого общества. Пища была скудная, спали на нарах. Тех, кто был не в состоянии работать, расстреливали неподалеку от монастыря.

Все работы по строительству канала производились вручную. На протяжении 108 км стройки работали только два экскаватора, которые углубляли основное русло канала до 5,5 м. Вся основная масса работ производилась с помощью лопат, тачек и носилок. Руководил этой стройкой майор госбезопасности Семен Фирин, шефом стройки был Г. Ягода, глава ОГПУ НКВД. На стройке погибли тысячи заключенных. Но официальная пропаганда восторженно писала о фактах «перековки» заключенных, исправления их непосильным трудом. На стройку приезжали писатели во главе с Максимом Горьким, которые прославляли ее. После того как в апреле 1939 г. по каналу прошел первый караван судов, часть заключенных из числа рецидивистов, работавших на стройке канала, была досрочно освобождена. Остальные продолжали гнить в лагерях как социально вредные элементы общества. Всё это приходится вспоминать, когда из своего окна я гляжу, как по каналу величественно проходят огромные белые теплоходы, провозя туристов из Москвы на Волгу и обратно.

Правда, тогда я ничего не знал о мрачных тайнах этого древнего города. Власти города и сейчас не стремятся афишировать прошлое. Исторический музей, находившийся в соборе, выставил как-то фотографии лагеря, но получил от городских властей указание снять их. Теперь я живу в доме творчества на Икше, в нескольких десятках километров от Дмитрова, но не люблю туда возвращаться. Это не моя родина, хотя город обновляется, строятся новые дома, улицы, магазины. Я чувствую, что в этом районе, несмотря на его живописность и новые явленные горнолыжные базы, построенные в районе поселка Турист, плохая энергетика.

## Московский государственный университет

Еще живя в Дмитрове, я часто посещал Москву. Для провинциального мальчишки всё в Москве казалось первоклассным, замечательным, столичным – Большой театр, парк Горького, Кремль, университет. Однажды посетил Мавзолей, отстояв километровую очередь, и на всю жизнь получил отвращение к реанимации трупов. Всё казалось и заманчиво близким, и в то же время недоступным. В 1952 г., окончив школу, я подал документы на философский факультет МГУ. Для этого пришлось просить разрешения в Министерстве высшего образования, ведь в 1952 г. мне еще не было 17 лет, положенных по закону для поступления в высшее учебное заведение. Вообще-то я мечтал об изучении океанографии, но в 10-м классе я начитался Н. Г. Чернышевского и вкусил яда философского познания, которым разбавлял скуку школьных сочинений по литературе.

Но по конкурсу я не прошел, не хватило одного балла. Казалось, прощай, университет, прощай, мечта. Но оказалось, что с моими баллами можно было устроиться на заочное отделение. Это лишало меня стипендии, но открывало доступ на лекции. Я снял маленькую комнату в Тетеринском переулке у Котельнической набережной, которую делил с набожной старушкой. Отец ежемесячно присылал мне деньги на питание и за комнату. Практически я только ночевал в доме, всё остальное время проводил в университете и в библиотеке.

Студенческая жизнь, которая длилась с 1952 по 1957 г., меня увлекала. Весь университет умещался в то время в двух зданиях на Моховой, а философский факультет – на одном этаже на Моховой, 9. Потом факультет переместился вглубь двора, по соседству с Первым медицинским институтом. Из окна нашего буфета было хорошо видно, как медики препарируют трупы в анатомическом театре. Это приучало к философскому взгляду на вещи.

На одном курсе со мной учились Э. Ю. Соловьев, Ю. М. Бородай, О. Г. Дробницкий, П. П. Гайденок, Д. Х. Лахути, В. К. Финн. На один курс старше нас были В. А. Лекторский, Н. В. Мотрошилова, П. В. Алексеев, В. М. Межуев, В. С. Швырев. Младше нас были Р. Ф. Додельцев, Д. Д. Средний, К. М. Долгов и др. Большинство из моих сокурсников, как и я сам, были приезжими из различных городов России. Костя Долгов долгое время ходил по факультету в тельняшке, как бы напоминая всем нам о своей службе на флоте.

На факультете помимо деканата и кафедр существовали зародыши студенческой организации. Был спортсовет, который занимался развитием спорта на факультете. В спортзале разыгрывалось межфакультетское первенство по баскетболу и волейболу. Я был включен в волейбольную команду, и мы пытались оказывать посильное сопротивление другим, более продвинутым в спортивном отношении факультетам. Эти усилия нашли даже отражение в серии дружеских шаржей в журнале «Крокодил». Кроме того, я стал помогать в издании стенгазеты «Трибуна спортсмена», которую редактировал Борис Грушин, тогда еще аспирант. Вся эта общественная деятельность очень помогла мне в учебе. Студенческий совет рекомендовал перевести меня на очное отделение. И эта рекомендация была принята. Так через полтора года я оказался полноценным студентом со всеми правами и обязанностями.

Главное – я устроился в общежитие на Стромынке. Большое замкнутое по квадрату, очевидно, монастырское здание давало приют всем иногородним студентам. Для меня условия казались роскошными. Впервые у меня было что-то свое – своя койка, тумбочка, а за общим столом можно было есть и пить чай. Несмотря на то что в комнате помещалось 5–6 человек, жили хотя и в тесноте, но дружно. Помнится, я делил комнату со своими сокурсниками Эрихом Соловьевым и Юрием Бородаем. Чтобы высыпаться, в морозные ночи открывали окна. Ведь вставать надо было рано, чтобы бежать на трамвай, а затем на метро от Сокольников до Охотного ряда. К тому же я стал получать стипендию, это повысило мой социальный статус и дало возможность покупать какие-то книги.



В то время в букинистических магазинах можно было встретить редкие издания, например отдельные тома из собрания сочинений Ницше. Стоили они всего 10 рублей. Новые издания по философии были неинтересными, но зато издания 30-х гг. были замечательными.

Впрочем, недостатка в литературе не было. Во-первых, на лекциях я подружился с Делиром Лахути, сыном известного персидского поэта и революционера Абулькасима Лахути. Делир и его отец, которого я застал в живых, жили в доме правительства напротив Кремля. Абулькасим Лахути, говорят, эмигрировал в Советский Союз после того, как он организовал восстание в Персии. На первом съезде советских писателей он был одним из старейших и уважаемых авторов, авторитет которого признавали все советские писатели. Но ходили слухи, что Лахути сочинил в духе восточной поэзии нравоучительную притчу о великом садовнике, который знает, где у него в саду растет роза, а где – чертополох, и он не будет вырывать с корнем хорошие цветы. Сталину, который перепалывал свой сад без особой любви к цветам, считая, что всё, что растет, – чертополох, не понравилось, что его кто-то учит, и он повелел, чтобы Лахути не выходил из своей квартиры. Впрочем, весь дом на набережной, как известно, был большой комфортабельной тюрьмой. Под домашним арестом здесь жили десятки опальных людей, принадлежащих к интеллектуальной и технической элите общества.

Я приходил в квартиру Лахути и встречался с его легендарным отцом. Это был маленький, очень гостеприимный человек. В доме была грандиозная библиотека классической и новой литературы. Мы с Делиром читали эту литературу на нудных, идеологических лекциях, занимаясь самообразованием. Я помню, что в это время я перечел все русские издания Шекспира, Шиллера, Гёте, Сервантеса.

Кроме того, в университете была замечательная Фундаментальная библиотека, составленная из фондов, подаренных библиотеке профессорами университета. Заниматься в этой библиотеке, расположенной в здании башенного типа, было и полезно, и приятно. Здесь можно было найти редкие книги. К тому же в библиотеке собирались студенты разных гуманитарных факультетов. Я помню, что на площадке перед читальным залом часто стоял молодой, кудрявый Гриня Ратгауз, крупнейший знаток Гёльдерлина и немецкой классической поэзии. Вокруг него собиралась толпа молодежи, обсуждались новинки литературы и новости политики. Для нас, студентов, эта библиотека была своеобразным клубом.

Правда, в университете на Моховой был и студенческий клуб (теперь это университетская церковь). Здесь можно было репетировать. Я немного играл на скрипке, и под руководством консерваторского профессора Тэриана мы разучивали Неоконченную симфонию Шуберта. В клубе сформировался замечательный театральный коллектив, в который входили как профессиональные, так и непрофессиональные актеры. В 1956 г. студия поставила пьесу чешского автора Павла Когоута «Такая любовь». Главную роль в ней сыграла Ия Савина. Одну из главных ролей играл преподаватель университета Всеволод Шестаков, я запомнил его имя, очевидно, потому, что он был моим однофамильцем. Совершенно не помню в этом спектакле Аллу Демидову, которая тогда была студенткой экономического факультета. Теперь мы с Аллой соседи по дому творчества кинематографистов на Икше и часто вспоминаем наши студенческие годы. Спектакль произвел настоящий фурор, его посещала вся Москва. Вряд ли так посещаются службы в церкви, которая теперь отняла у студентов помещение на улице Герцена.

В начале 50-х гг. на факультете обучались иностранные студенты, как правило, из стран так называемой народной демократии. На нашем курсе учились трудолюбивые немцы из ГДР, группа китайских студентов, которые, правда, потом быстро исчезли. Были чехи, несколько венгров, среди которых хорошо помню Юру Маркуша, который впоследствии стал секретарем Дьёрдя Лукача периода его участия в демократическом правительстве. Среди иностранных студентов на нашем курсе были два албанца, довольно милые и старательные студенты. К сожалению, один из них сошел с ума на почве военной истерии, он считал, что под высотным

зданием МГУ заложена атомная бомба. Так что в национальном и культурном отношении это был своеобразный Ноев ковчег.

Программа обучения философии была довольно пестрой. Помимо идеологических предметов – диамата, истмата и истории КПСС – этого обязательного «тривиума» советского образования, нам преподавали элементы естественнонаучных дисциплин – основы дарвинизма, высшую математику, психологию и еще какие-то предметы, которые теперь трудно вспомнить.

Деканом факультета в мое время был Василий Сергеевич Молодцов, который начал свою карьеру на физико-математическом факультете. Поэтому он устраивал разнообразные курсы по естественным и смежным наукам, в частности по философским вопросам языкознания. Как и вся страна, мы изучали гениальный труд И. В. Сталина по вопросам языкознания. Я помню, что нас собирали со всех курсов на лекцию трубадура сталинской эпохи академика Т. Д. Лысенко, который в течение двух часов истерично выкрикивал анафемы в адрес генетики.

В общем, в программе обучения было много чего для промывания мозгов. В особенности убоги были лекции по русской философии, которые читали И. Я. Щипанов, М. Т. Иовчук, Г. С. Васецкий. Но были и хорошие лекторы. О «Капитале» Маркса неплохо, чисто аналитически, без всякой идеологической интерпретации, читал лекции испанец Мансилья. Историю философии читали Теодор Ильич Ойзерман и Василий Васильевич Соколов. Прекрасные лекции по Канту и кантианству читал Валентин Фердинандович Асмус. Их приходилось тщательно записывать, потому что учебники по истории философии были догматизированы и пользоваться ими не было никакой возможности.

С самого начала поступления на факультет я интуитивно почувствовал, что философии можно обучиться единственным способом – посредством изучения истории философии. Поэтому я с увлечением стал читать произведения мыслителей прошлого и слушать лекции по истории философии.

Надо сказать, что изучать историю философии было непросто, так как переводы многих философских сочинений отсутствовали, а хороших учебников по истории философии не было. На факультете были живы воспоминания о недавнем идеологическом погроме – обсуждении учебника по истории западноевропейской философии, или, как его называли студенты, «серой лошади». Погром этот был начат по инициативе одиозной фигуры – философа З. Я. Белецкого, заведующего кафедрой диалектического и исторического материализма. Врач по образованию, Белецкий философии не знал, но крепко держался за догматы марксизма-ленинизма. Белецкий принес много бед философскому факультету. Он писал обличительные письма Сталину, которые, по сути дела, были доносами. В особенности он обличал авторов третьего тома «Истории философии», где речь шла о немецкой философии. Ее авторы воздавали должное Канту и Гегелю, развивавшим идею историзма и диалектики. Напротив, Белецкий называл Гегеля мыслителем, обосновывающим нацистскую национальную идею. Сталин поддержал Белецкого, в особенности его нападки на изучение гегелевской философии, которая, очевидно, ему самому не далась. В результате обсуждения этого учебника по истории западноевропейской философии в ЦК КПСС он был признан идеологически несостоятельным, зараженным вирусом «европоцентризма». После этого обсуждения многие философы потеряли работу и вынуждены были уйти из Института философии или с философского факультета. Среди них был молодой М. Ф. Овсянников.

До смерти Сталина Белецкий доминировал на факультете. Зиновий Белецкий считал, что истина материальна, а все ее вековые поиски – дань идеализму. О нем ходило много мрачных историй, он фигурировал в гимне философов, где, как мне помнится, были такие слова:

*Над истиной люди трудились века,  
Корпел наш умишко простецкий.  
В реальность ее возродил, ха-ха-ха!*

*Мыслитель Зиновий Белецкий.*

Среди философов, с которыми я общался в моей юности, был довольно высокий процент людей, подвергшихся репрессиям в 30-е гг. Назову хотя бы три имени – А. Ф. Лосев, Я. Э. Голосовкер, которые побывали в лагерях, и А. С. Спиркин, отсидевший пять лет в тюрьме на Лубянке по сфабрикованному политическому делу. Но к этим персонажам я еще вернусь позже.

В то время кумиром всех молодых студентов на факультете был Эвальд Васильевич Ильенков. Сын известного писателя, редактора популярного издания «Роман-газета», Эвальд получил хорошее образование. Он отличался глубоким, вдумчивым, критическим умом. Его главным интересом были проблемы диалектической логики как метода мышления. В 1954 г. Эвальд Ильенков и его приятель Валентин Коровиков, географ по образованию, выступили со своими знаменитыми тезисами. Они предложили уточнить предмет философии как науки. Должна ли философия заниматься всем без разбора, или же у нее специальный предмет? Если да, то в чем же он состоит? Молодые реформаторы объявили, что философия должна заниматься логикой познания, тогда как исторический материализм как идеологическая наука должен быть исключен из предмета философии.

Эти тезисы вызвали шуму не меньше, чем те, что в свое время прибывал на двери собора Лютер. Если студенты поддерживали Ильенкова и Коровикова, то начальство решило иначе. Оно осудило эти злополучные тезисы и отлучило Ильенкова и Коровикова «от церкви». Иными словами, им было запрещено преподавать. Правда, Ильенков остался на факультете, а Коровикову пришлось уйти. Впоследствии их сторонники назывались бранным термином «гносеологи». Помнится, в деканате обсуждали мою кандидатуру на какой-то общественный пост, но отвели, так как кто-то сказал: «Но он ведь гносеолог». Парадоксально, но в то время даже гносеология на философском факультете была идеологически опасной.

Ильенков был центром стихийно сложившегося философского кружка. Он жил в самом центре города – в начале улицы Горького, напротив Центрального телеграфа. Поэтому к нему приходили все, кто шел с философского факультета. Здесь бывали Борис Грушин и Юра Щедровицкий, Саша Зиновьев и Мераб Мамардашвили, Карл Кантор и Борис Шрагин. Поначалу Эвальд много пил, а затем резко и бесповоротно отказался от алкоголя. Тем не менее у него в доме можно было и поспорить, и рассказать новый анекдот, и послушать музыку. Эвальд любил Рихарда Вагнера, и ему удалось переписать на пленку всё «Кольцо Нибелунгов». Так что за слушанием музыки засиживались у Эвальда далеко за полночь.

В 50-х гг. мы, молодые студенты, ощущали, хотя еще довольно смутно, что в философской науке происходят серьезные изменения, и что приходит конец догматическому марксизму-ленинизму, который мы были вынуждены не без отвращения изучать. Во главе этой реформы, а правильнее было бы сказать – революции, стояли два молодых человека, в то время аспиранты философского факультета – Эвальд Ильенков и Александр Зиновьев. Они открыли дорогу новой философской проблематике, связанной с методологией мышления и научного познания. Хотя оба занимались общими проблемами, подход у каждого был особенный. Ильенков продолжал традицию немецкой классической философии, в особенности Гегеля. Зиновьева больше интересовали вопросы структуры и систематизации знания.

Каждый из них создал свою школу. Из школы Зиновьева вышли Мераб Мамардашвили, Борис Грушин, Георгий Щедровицкий. Школа Ильенкова была более многочисленна, поскольку он читал лекции на факультете, на которых присутствовали многие студенты. Как кто-то из студентов сказал, кажется, Эрих Соловьев: «Все мы вышли из ильенковской шинели». В 1960 г. Ильенков издал книгу «Диалектика абстрактного и конкретного в “Капитале” Маркса». Правда, еще раньше логикой «Капитала» стал заниматься Зиновьев, написавший в 1954 г. диссертацию на эту тему. Книга Ильенкова оказала огромное влияние на многих

студентов и аспирантов независимо от того, к какой школе они принадлежали. Логику «Капитала» стали изучать буквально все. Эта тема стала предметом диссертаций, статей и книг Александра Зиновьева, Мераба Мамардашвили, Бориса Грушина, Георгия Щедровицкого, Генриха Батищева, Владислава Лекторского.

Любопытно, что студенты философского факультета 50–60-х гг. не принадлежали к элитарным или состоятельным семьям. Только 5 % из их числа были выпускниками московских школ. Остальные 95 % составляли выходцы из самых различных областей Советского Союза, причем далеко не всегда из крупных городов, а чаще всего из сельской местности. Всё это свидетельствовало, что молодое поколение этого времени было проникнуто духом если не свободы, то освобождения. Оно испытало на себе две тирании: войны и сталинизма. В 1945 г. Советская армия вместе с союзниками победила гитлеровский фашизм и стала освободительницей Европы. А в 1953 г. умер Сталин, и вместе с его смертью покачнулась железная диктатура сталинизма. Эти две тирании сказались на судьбах людей философской профессии. Известно, что на фронтах войны погибло 10 сотрудников Института философии, а в сталинские лагеря было отправлено 115 человек<sup>7</sup>. Теперь всё это было в прошлом, и молодые люди, пришедшие на философский факультет, были свободны в мыслях и в поведении от этих двух страшных тираний XX в.

Благодаря открытости и общительности, бытовавшим на факультете, новые философские идеи не замыкались в узком кругу, а широко расходились по всей стране. Так начинала формироваться школа. Ильенков обладал способностью объединять людей разного поколения – и молодых, начинающих жизнь в науке, и людей уже опытных, прошедших суровую школу 30-х гг. Я и мои друзья были представителями молодого поколения. Но наибольший интерес представляет дружба с Ильенковым Михаила Александровича Лифшица, о которой он рассказывает в своей книге «Диалог с Эвальдом Ильенковым». Дружба эта началась на почве письма Лукача, указывающего Ильенкову и его друзьям, переведившим книгу «Молодой Гегель», на Лифшица как на эксперта по Гегелю. Ильенков пришел с этим письмом к нему, и, как пишет Лифшиц, «с этого первого посещения началась наша дружба».

С другой стороны, Лифшица интересовала интерпретация Эвальдом Васильевичем гносеологических проблем, в частности его статья «Идеальное» во втором томе Философской энциклопедии. Лифшиц подчеркивал, что Ильенков подходил к решению философских проблем как профессиональный философ, отвергая всякую моду и модничанье и уж конечно всякие поправки на идеологию и политику. Лифшиц писал об Ильенкове:

*«Ильенков был настоящим философом, если такая профессия существует. Во всяком случае, он ставил вопросы онтологические и гносеологические, искал решения их на почве диалектического метода, в садах истории философии и в других специально отведенных местах»<sup>8</sup>.*

Читая «Диалог», чувствуешь даже некоторую зависть Лифшица как человека 30-х гг. по отношению к той философской свободе и концентрации на самом процессе мышления, которая отличала Ильенкова как представителя нового философского поколения.

Сашу Зиновьева помню не на факультете, а в Институте философии. Он был намного старше нас и писал диссертацию тогда, когда я еще готовил свои курсовые работы. Он прошел всю войну, служил в танковых войсках, хотя его полк танков не получил, потом был военным летчиком. Окончил войну в звании капитана. И сегодня его портрет в военной форме можно увидеть на первом этаже Института философии.

---

<sup>7</sup> Списки и краткие биографии этих философов приводятся в книге «Наш философский дом. К 80-летию Института философии РАН». М.: Прогресс-Традиция, 2009. С. 508.

<sup>8</sup> Лифшиц М. Диалог с Эвальдом Ильенковым. М., 2003. С. 18.

Сразу после войны Зиновьев поступает на философский факультет, после окончания которого остается в аспирантуре. Затем он поступает в Институт философии, где в 1954 г. защищает кандидатскую диссертацию на тему «Логика “Капитала” К. Маркса». К сожалению, она не была опубликована и поэтому известна только немногим. Она вышла в свет только в 2002 г.

Саша обладал помимо своих научных знаний как логик огромным сатирическим талантом. Вместе с Эрихом Соловьевым они выпускали в Институте философии стенгазету, посмотреть которую съезжалась вся Москва. В ней все институтские события иллюстрировались в острых карикатурах и сопровождались остроумными стихотворными пародиями, в том числе на институтское начальство. Из-за этого газету вскоре закрыли. От стихотворной сатиры Зиновьев перешел к сатирической прозе, написав серию книг о сталинской эпохе. Первой была книга «Зияющие высоты», описывающая некую страну Ибанию и все ибанские учреждения. Несмотря на все предосторожности, книга попала за границу, где была напечатана. Это послужило причиной высылки Зиновьева в ФРГ. Но здесь сатирический талант Саши только расцвел, и он красочно описал гротескный тип Homo Sovieticus, который и поныне здравствует в России. Зиновьев отказался участвовать в строительстве «зияющих высот», но он вернулся на родину, когда возникли надежды, что старый мир рухнул навсегда.

Позднее на факультете появился еще один преподаватель, который сыграл в моем философском образовании большую роль. Это был Михаил Федотович Овсянников. Он был аспирантом у Георга Лукача, который одно время жил в России. От Лукача Овсянников получил глубокие знания немецкой философии, в особенности Гегеля.

В библиотеке я познакомился с кандидатской диссертацией Михаила Федотовича «Гегель и Бальзак о судьбе искусства в капиталистическом обществе», которую он написал и защитил под руководством Лукача. Это была замечательная работа, основанная на многочисленных источниках и документах, соединяющая философскую глубину с филологической точностью. Гегеля Овсянников знал не из пересказов, переводов или популярных адаптаций, а из первых рук, на основе немецких источников.

Поэтому мы, студенты 3-го курса, обрадовались, когда узнали, что открывается спецкурс по «Феноменологии духа» Гегеля. Я и Эрих Соловьев немедленно записались на его занятия и стали усиленно их посещать. Должен сказать, это была хорошая философская школа. Мы читали текст Гегеля и комментировали его. Михаил Федотович нам помогал ориентироваться в сложном диалектическом мире немецкого идеализма.

Я до сих пор храню конспекты этого семинара. Приход Овсянникова на философский факультет был большим событием для нас, студентов. Многое изменилось и в его жизни. Преподавание философии позволило ему преодолеть ту травму, которую принесло ему отлучение от философии. Я помню свое посещение его жилища, которое располагалось в общежитии Педагогического института. Эта была небольшая, темная комната, в которой находились еще какие-то жилыцы. Позднее, после того как на Ленинских (ныне – Воробьевых) горах было возведено здание университета, Михаил Федотович получил квартиру в профессорском корпусе. Но к тому времени он уже был заведующим кафедрой марсистско-ленинской эстетики.

Михаил Федотович много работал – читал лекции, писал книги и статьи, руководил кафедрой эстетики и философским факультетом. Но у него было любимое занятие – фотография. Он всегда носил с собой фотоаппарат и часто совершенно неожиданно начинал снимать. Сегодня его фотографии – замечательный документ, свидетельствующий о наблюдательности и постоянной сосредоточенности ума.

Большим событием, которое изменило жизнь университета, и прежде всего философского факультета, была смерть Сталина. Я встретил ее распятым на решетке университетских ворот со стороны улицы Герцена.

Виной всему было желание выспаться. 6 марта 1953 г. я проснулся в общежитии на Стромынке довольно поздно. Все мои товарищи уже ушли на лекции, а я решил пойти на занятия позднее. Но когда я вышел из метро в центре, я не узнал Москву. Всюду стояли военные машины, ряды солдат, которые перекрывали проход к центру. Город был в шоке. Умер великий Генералиссимус, вождь и отец народов, величайший диктатор, которого только знала история со времен Римской империи. Осиротевший народ понуро тек в Дом Союзов, чтобы проститься с ним. Дорогу толпе преграждали войска. В возникающей давке люди теряли обувь, одежду, даже жизни.

Меня швыряло в толпе, как щепку в океане. Я постарался выбраться из нее и добраться до университета, куда меня, как пчелу в улей, вел инстинкт. Почему-то хотелось попасть на факультет, быть рядом с товарищами. Я перебирался по кузовам машин, убегал от военных и постепенно приближался к университету по улице Герцена. Наконец я достиг ворот университета и, отрываясь от преследователей, бросился к ним. Увы, они были закрыты. Как в фильмах Эйзенштейна, я взобрался на решетку ворот, но был снят с нее солдатами, которые заломили мне руки за спину и отбросили от ворот *alma mater*. Хорошо, что меня при этом не побили. Так на решетке (хорошо, что не за), я встретил смерть Великого Кормчего.

После смерти Сталина в области идеологии появились первые, еще слабые, а потому привлекательные признаки «оттепели». Одним из таких признаков нового идеологического климата было появление на факультете новых философских предметов и дисциплин, в частности эстетики. Наряду с «тривиумом» марксистских дисциплин на факультете стали появляться «свободные искусства» (*liberal arts*). Интерес к эстетике был огромным, так как эта наука признавала личностные оценки, суждения вкуса, признание красоты как огромной духовной силы, которая, по словам Достоевского, может «спасти мир». Во всех вузах страны стихийно возникали «кружки по эстетике», на которых читались доклады, обсуждались проблемы искусства, велись дискуссии о поэзии, музыке или живописи. Помнится, всех тогда занимала дискуссия «физиков» и «лириков», выяснявших, что важнее в жизни – наука или искусство. Такой кружок по эстетике, кажется, первый в стране, возник и на философском факультете. Я долгое время был старостой этого кружка. А его научным руководителем был Виктор Константинович Скатерщиков, который был одним из первых преподавателей эстетики на философском факультете. Но вскоре эстетика конституировалась как философская наука. Этому способствовало основание кафедры марксистско-ленинской эстетики (так она тогда называлась) на философском факультете. Возглавил эту кафедру М. Ф. Овсянников. Вслед за Московским университетом курсы эстетики стали читать во всех крупных вузах страны в качестве обязательного предмета. Настал настоящий эстетический бум, который сопровождался изданием книг и учебников, организацией дискуссий и конференций, появлением огромного числа студентов и аспирантов, желающих специализироваться на проблемах эстетики. Когда Михаил Федотович совмещал должности декана философского факультета и заведующего кафедрой эстетики, у него на кафедре было до 50 аспирантов. Казалось, вся страна превратилась в Общество любителей эстетики.

Михаил Федотович был добрейшим человеком. Он стремился помочь каждому, кто искал свой путь в науку. Порой его добротой пользовались недобросовестные люди, которые стремились найти себе комфортное место в его тени. Таким, например, был Е. Г. Яковлев, который дослужился до поста заместителя заведующего кафедрой. Бывший специалист по атеизму, он плохо знал философию и был совершенно некомпетентен в вопросах искусства. Он способствовал быстрой девальвации эстетики как науки. Мне неоднократно приходилось обнаруживать в диссертациях, представленных на кафедру, откровенный плагиат, занимавший порой десятки страниц. Значит, они плохо обсуждались, если вообще обсуждались перед защитой, а за это отвечал Яковлев. Уровень его собственных публикаций был ниже всякой

критики. Я как-то сделал обзор работ Яковлева, получился настоящий фельетон. Жалею, что не опубликовал его.

Как яркий представитель «школьной эстетики», Е. Г. Яковлев часто радовал нас своими оригинальными открытиями. Например, не считаясь с Леонардо да Винчи и многими другими авторитетами в области эстетики, он вдруг объявил, что главным эстетическим чувством является не зрение, а обоняние. Декартовское «*Cogito ergo sum*» превращалось у него в формулу «Я нюхаю, значит, я существую». Или же он глубокомысленно провозглашал, что гибель Римской империи объясняется недостатком полноценных эстетических теорий. Отсюда следовало, что современная цивилизация держится усилиями профессиональных эстетиков, в том числе самого Е. Г. Яковлева.

Все эти по-детски наивные, фантастические и шаловливые мысли профессор эстетики не стеснялся предавать гласности и украшал ими свои книги. Пожалуй, его сентенции не уступали рассказам другого мэтра от эстетики, А. Разумного, о «бюргерских замках», которые так талантливо высмеял М. А. Лифшиц. Таковы были замечательные экзерсисы «школьной эстетики».

Михаил Федотович не обращал внимания на своего подопечного. Он был неисправимым оптимистом, полагая, что логика науки, накопление знания, несмотря ни на что, приведет к положительному результату, к победе знания над невежеством, добра над злом. Он никогда не спорил, ни обличал, не ввязывался в дискуссии. Можно сказать, что он фанатично, по-крестьянски верил в некий Мировой разум. Эта вера ощутима в каждой его работе, она придавала смысл и содержание его неустанным трудам. Похоже, что он не ошибался. Его работы еще долго будут служить прогрессу научного знания и образования.

Надо сказать, что далеко не всё в этой молодой дисциплине было на высоком научном уровне. В ней было много наивного, порой просто примитивного. Слово «эстетика» применялось буквально ко всему – «эстетика труда», «эстетика спальни», «эстетика поведения». Уровень преподавания эстетики в ряде учреждений, особенно провинциальных, был низким. Часто эстетикой занимались люди без философского образования, те, кто не нашел себе места в своей области – филологии, истории. Ироничный Михаил Александрович Лифшиц, написавший замечательный полемический трактат «В мире эстетики» против такого рода учености, называл этот способ философствования «ученым дилетантизмом», а многочисленные эстетические сочинения – «школьной эстетикой». Я разделял его скептицизм относительно марксистско-ленинской теории эстетики и занимался поэтому главным образом историей эстетики. В этой области я находил в Михаиле Александровиче не только учителя, но и союзника и коллегу.

На факультете некоторое время преподавал психологию Александр Романович Лурия, психиатр с мировым именем. Его работы о функциях головного мозга были известны во многих странах. К тому же, несмотря на трудное время, Лурия читал лекции в Сорбонне и США. Александр Романович проявлял интерес и к психологии искусства. На этой почве мы с ним как-то разговорились, и он порекомендовал мне поработать в домашнем архиве Сергея Михайловича Эйзенштейна. Для этого он рекомендовал меня жене Эйзенштейна П. М. Аташевой. Она жила на Кропоткинском бульваре, куда меня и пригласила.

Аташева обитала в небольшой квартире на первом этаже. При входе я увидел прежде всего знаменитые маски, которые Эйзенштейн привез из Мексики. В то время началось издание собрания сочинений Эйзенштейна, но оно не было закончено. Аташева любезно предоставила мне возможность познакомиться с рукописями Эйзенштейна, которые еще не были напечатаны. Я был поражен разнообразием интересов Сергея Михайловича и глубиной его знаний. Его интересовало всё связанное не только с кинематографом, но и выразительным языком других видов искусств. Он читал много книг об искусстве и был хорошо знаком с эстетическими трактатами. Сам прекрасный рисовальщик, Эйзенштейн проявлял особый интерес к графике,

к европейской и японской гравюре. Особенно меня заинтересовала прекрасная статья Эйзенштейна о Хогарте, где он доказывал, что эстетическая теория английского художника может быть вполне применена к современному кинематографу. Поскольку в то время не было никаких средств для копирования, я сделал много выписок из рукописей Эйзенштейна.

Помимо постепенного подъема новых философских дисциплин, в числе которых были математическая логика и история науки, были и другие признаки наступающей «оттепели». К ним относилась деятельность научно-студенческого общества (НСО), которое не подчинялось деканату, партийной и профсоюзной организациям, контролирующим идеологическую жизнь факультета. На факультете стали активно работать кружки, на которых студенты читали и обсуждали доклады. Вся эта деятельность нуждалась в отражении, в каком-то письменном органе. Так возник «Журнал НСО» – орган научной самостоятельности студентов. Я стал его редактором и одновременно составителем, корректором и издателем.

Поначалу это был небольшой информационный бюллетень. Потом я стал включать в него теоретические статьи, фрагменты курсовых или дипломных работ. Я помню, что в числе авторов были Н. Мотрошилова, В. Лекторский, В. Межуев. Печатался журнал тиражом в 4 экземпляра на пишущей машинке, а затем переплетался в издательском центре МГУ. Журнал помещали в библиотеку, которая выдавала его желающим под расписку.

Вскоре я вошел во вкус. Материалы становились всё более интересными. Надо было менять технологию издания. И я, договорившись с типографией МГУ, стал издавать журнал сначала в количестве 50, а потом 100 экземпляров. Конечно, я не ведал, что творил. На самом деле я основал нелитованный, не пропущенный через цензуру журнал. Фактически это было самым настоящим самиздатом. Известно, что советская власть не допускала свободы печати и цензурировала даже спичечные коробки и обертки для конфет. Благодаря Богу, что всё обошлось и я избежал неминуемого наказания как издатель нецензурированной литературы. К сожалению, у меня не осталось ни одного экземпляра журналов, которые я тогда издавал на свой страх и риск.

Научным руководителем моих курсовых и дипломных работ был Валентин Фердинандович Асмус. Это был всесторонне образованный ученый. Он занимался и эстетикой, и логикой, и музыкой. В 1940 г. он защитил докторскую диссертацию по древнегреческой философии, впоследствии издавал книги на эту тему, издал прекрасную антологию, по которой я учился, «Мыслители древней Греции об искусстве». Он писал работы и по логике, но его истинным призванием была история философии – античная, европейская философия Нового времени, немецкая классическая философия. Он писал замечательные книги, в особенности о Канте и неокантианстве. Асмус был прекрасным лектором, пусть несколько скучным по стилю, но всегда содержательным, точным во всех своих формулировках. Он никогда не импровизировал, но читал свои лекции по готовым текстам. В них не было ни одного пустого слова. Я полностью согласен с В. В. Соколовым в том, что из философов старой, дореволюционной школы самым выдающимся был Асмус<sup>9</sup>.

Асмус приехал в Москву в 1927 г., после окончания Киевского университета. А. Ф. Лосев, который никогда не упускал случая подтрунивать над Асмусом, говорил, коверкая на немецкий лад его имя: «Азмус? Я помню, как он пирожки в Киеве продавал». Напротив, Асмус всегда был вежлив и корректен, всегда спрашивал о здоровье Алексея Федоровича и просил передать ему привет.

Я посещал Валентина Фердинандовича в его квартире на Хорошевском шоссе, которая помещалась в доме, построенном немецкими военнопленными. У него в то время было, кажется, трое или четверо маленьких детей. Помню, что когда я первый раз открыл дверь его

---

<sup>9</sup> Соколов В. В. Философские страдания и просветления в советской и постсоветской России. Воспоминания и мысли запоздалого современника. М., 2014. С. 54.



квартиры, оттуда, как горох, высыпался отряд малышей, которые выбежали в подъезд, намериваясь удрать на улицу. Мне вместе с Валентином Фердинандовичем пришлось загонять их обратно в квартиру.

Позднее Асмус построил дом в Переделкино и переехал жить туда. Оттуда он ездил на такси на лекции в новое здание университета. Я навещал его в небольшом дачном домике. Асмус, более чем кто-либо из моих знакомых, воплощал в своей жизни кантовский принцип: «Звездное небо над нами, нравственный закон в нас». Он был глубоко нравственным человеком. А по ночам он изучал звезды. У него на столе стоял небольшой телескоп, которым он пользовался, когда рассматривал звезды на небе. Как известно, в Переделкино Асмус дружил с двумя людьми – пианистом Станиславом Нейгаузом и поэтом Борисом Пастернаком. Они встречались семьями, слушали музыку, беседовали. После смерти Пастернака Асмус был единственным человеком, кто осмелился сказать над гробом опального поэта прощальную речь. Это была короткая речь, прощание с другом и гениальным поэтом. Асмус не упомянул крамольного романа «Доктор Живаго», но сказал, что поэзия Пастернака утверждала достоинство человека. Кроме него, никто не выступал. Этот естественный человеческий поступок вызвал гнев властей. Это едва не послужило причиной потери им работы, которая была единственным источником существования его самого и его семьи. Тогда ему пришлось бы возвращаться в Киев и заниматься тем, в чем его упрекал Лосев, – «продавать пирожки». Начальство допрашивало его, выясняя, кто позволил ему выступить на похоронах Пастернака. Асмус нашел только одно объяснение. Он сказал, что выступить его уполномочил писательский фонд, который был не идеологической, а имущественной организацией, оказывавшей материальную помощь писателям. Это было не очень хорошее объяснение, но оно давало Асмусу хоть какое-то оправдание перед советской властью. Тем не менее дамоклов меч безработицы долгое время висел над Валентином Фердинандовичем. Он этого страшился, но был непреклонен и не приносил никаких извинений за свой мужественный и гражданский поступок. Ф. В. Константинов попытался вывести Асмуса из состава редколлегии Философской энциклопедии. К счастью, этого не случилось, так как власть побоялась скандала. Я знаю, что власть стремилась манипулировать ученым, толкала его на неблагоприятные поступки. Но советскому закону Асмус предпочитал закон нравственный и до конца жизни остался ему верен.

Под руководством Асмуса я в 1957 г. успешно защитил дипломную работу на тему «Маркс о характере художественного освоения в античном обществе». В этой работе я стремился проследить эволюцию воззрений на античность в европейской культуре – от И. И. Винкельмана до современных концепций философии истории. В этой работе я ссылался на работы А. Ф. Лосева 30-х гг., что вызвало переполох на кафедре истории европейской философии, руководимой довольно ортодоксальным Теодором Ильичем Ойзерманом. Насколько я знаю, это была первая в советское время попытка реабилитации Лосева. Но Асмус меня поддержал, и работа была защищена успешно.

Алексей Федорович тоже написал на восьми печатных страницах положительный отзыв на мою дипломную работу, который я сохранил до сих пор. В нем он писал: *«У В. П. Шестакова уже намечается умение оперировать с трудными философскими текстами и критически относиться к философским понятиям. Так, его сознательное отношение к фетишизму, начиная от первобытного и кончая товарным фетишизмом нового времени, свидетельствует и о критицизме автора и даже об его талантливости в понимании трудных философских понятий»*.

Статья была подписана: А. Лосев, доктор филологических наук. Действительно, находясь на философском факультете, Алексей Федорович получил степень доктора, но не философии, а филологии. Судя по отзыву, Лосев, очевидно, почувствовал мой интерес к философским и эстетическим категориям, которыми сам он прекрасно владел. Через 8 лет в издательстве

«Искусство» мы издали с ним совместную работу «История эстетических категорий», которая, как меня уверяют, до сих пор не утратила своего значения.

Впоследствии Асмус следил за моей работой. У меня сохранилось несколько его одобрительных рецензий на книги по эстетике, которые я тогда опубликовал. Я же имел возможность приезжать к нему в Переделкино, привозил пластинки с записями музыки Баха. От Асмуса я получил вкус к немецкой философии, в частности к немецкому романтизму. Позднее я опубликовал редкий философско-эстетический трактат романтика Карла Зольгера «Четыре разговора о красоте», а также «Музыкальную эстетику Германии XIX века». Я также подготовил большую антологию «Ницше в России», которая осталась, к сожалению, неопубликованной. Единственный результат этой работы – статья «Ницше в России» в сборнике «Германия и Россия». Немецкая философская мысль – прекрасная школа для развития философского мышления. Это убеждение я почерпнул из лекций и бесед с Валентином Фердинандовичем.

Еще будучи студентом начальных курсов философии, я чувствовал абстрактность и отвлеченность чисто философского подхода к искусству. Зарождающаяся эстетика апеллировала, как правило, к банальным примерам из литературы, к наивным дискуссиям «физиков» и «лириков». Мне казалось это недостаточным. Хотелось знать об искусстве больше и по возможности глубже. Была возможность посещать лекции по истории искусства на историческом факультете, но по советским законам учиться на двух факультетах одновременно было запрещено.

В то время ректором МГУ был замечательный человек – академик Георгий Иванович Петровский. Он был замечателен уже тем, что был досягаем для простых студентов. Я пришел к нему на прием и объяснил, что я занимаюсь эстетикой, но хотел бы иметь более конкретные знания об искусстве, которые могло бы дать изучение истории искусства. Петровский внимательно выслушал меня и подписал мое заявление на поступление на заочное отделение исторического факультета по кафедре истории искусства. Так я получил формальное право посещать лекции и семинары по искусствоведению. С тех пор после лекций на философском факультете на Моховой, 9 я бежал на улицу Герцена, 5, где в то время помещались искусствоведы.

Надо сказать, мне очень повезло. В то время на кафедре истории искусства были замечательные преподаватели. Возглавлял кафедру Виктор Никитич Лазарев, мировой специалист по искусству итальянского Возрождения и русской иконописи. Вместе с Алпатовым Лазарев представлял элиту отечественного искусствоведения. При этом он не отказывался работать со студентами и вел курс по анализу памятников, приучая искусствоведов самостоятельно и творчески мыслить. На его занятиях я зачитал свой первый доклад в области искусствоведения – анализ картины Брейгеля «Падение Икара».

На кафедре работали историки искусства, представлявшие цвет отечественного искусствоведения, которое не подверглось такой тяжелой идеологической проработке и контролю, как философия. Античное искусство преподавал Юрий Дмитриевич Колпинский, автор книг об античной скульптуре. Он был замечательным лектором и вносил в свои лекции много личной экспрессии, нестандартного взгляда на классические шедевры. Очень часто он проводил занятия не у проекционного фонаря, а в Музее им. Пушкина, прямо у греческих памятников и слепков. Студенты очень любили его лекции и семинары.

Египетское искусство вел замечательный египтолог В. В. Павлов. Он знакомил нас с памятниками древней культуры, которые он прекрасно знал и замечательно анализировал. Теперь даже в Британском музее, обладающем огромной коллекцией египетского искусства, я не теряюсь среди многочисленных экспонатов и вижу в них эволюцию определенных художественных стилей. Всеми этому я обязан Павлову. Английское искусство преподавала его жена Е. А. Некрасова, автор нескольких книг об английских художниках XVIII в.

Теорию и эстетику читал Иван Людвигович Маца. Это был замечательный человек, прекрасный знаток европейской теории искусства. Он эмигрировал из Чехословакии еще в 20-х

гг. и участвовал в эти бурные годы в дискуссиях с представителями Пролеткульта. На факультете он знакомил студентов с историей и теорией эстетики и на основании этого курса издал небольшую, но полезную книгу «История эстетических учений». Надо сказать, это была первая книга по этому предмету. Потом многие писали по истории эстетики, прежде всего М. Ф. Овсянников. Я сам приложил руку к этой сфере и издал даже не одну, а несколько книг на эту тему: «История эстетики от Сократа до Гегеля», «От этоса к аффекту. История музыкальной эстетики», «История эстетических категорий». Но Маце по праву принадлежит пальма первенства.

Я с удовольствием общался с Иваном Людвиговичем, посещал его на даче. Он показывал мне план своей книги о Венской школе искусствознания, которую он, к сожалению, так и не написал. Эту тему через четверть века пришлось реализовывать мне. Маца был в преклонном возрасте и вскоре умер. Я присутствовал на скромной гражданской панихиде в здании университета. После его смерти В. Н. Лазарев вызвал меня и предложил мне занять место Ивана Людвиговича. Это было престижное предложение. Но я воспользовался им только наполовину, работая в университете на полставки и оставаясь в исследовательском институте. Жизнь показала, что я поступил правильно.

На лекции в университет приходил и старейший искусствовед А. А. Сидоров, замечательный коллекционер, знаток русского искусства и искусствознания. Но главное место в лекциях по истории искусства занимало итальянское Возрождение. Эти лекции превосходно читал В. Н. Лазарев. Иногда, когда он заболел, его подменял Виктор Николаевич Гращенков.

Это была сложная фигура. С одной стороны, несомненный знаток Ренессанса, автор превосходной книги о ренессансном портрете, которая за последние десятилетия выдержала несколько изданий. Он занимался историографией Возрождения и по этой теме читал очень хорошие лекции. С другой стороны, Гращенков был нетерпим к людям, в особенности к своим ученикам, которым долго не давал выхода к защите. Я помню, что некоторые из них просто рыдали, рассказывая о своих отношениях со своим руководителем. Гращенков напоминал мне древнегреческого Крона, который пожирал своих детей. Очевидно, он боялся конкуренции и не подпускал к кафедре людей талантливых, способных к самостоятельности. Эти качества характера в особенности стали очевидны после смерти Лазарева, когда Гращенков занял место заведующего кафедрой. Мне тоже пришлось уйти с кафедры, так как Гращенков требовал, чтобы я на моих лекциях строго следовал убогой программе марксистско-ленинской эстетики и не допускал никаких экскурсов в историю искусства. Было странно видеть в знатоке итальянского Возрождения рьяного поклонника вульгарной марксистской ортодоксии. В общем, как человек Гращенков был прямой противоположностью своего учителя. При нем кафедра постепенно перестала быть центром изучения истории искусства.

Из моих занятий историей искусства на историческом факультете я вынес одно очень важное убеждение, которое теперь стремлюсь по возможности реализовать на практике, – о первостепенной роли Ренессанса в становлении европейской цивилизации. Именно в культуре Возрождения сформировался тот тип личности, который может быть назван «европейцем». Он связан со свободой мысли и слова, универсальной образованностью, духом гуманизма. Эпоха Возрождения сыграла важную, можно сказать, ключевую роль в истории европейской культуры. Этой эпохе мы обязаны возникновением гуманизма, разрушившего старую систему образования, новой концепции личности с ее безграничными возможностями, открытием новой картины мира, созданием архитектуры и изобразительного искусства, основанных на законах линейной перспективы, завоеванием нового социального статуса для художника, превратившегося из ремесленника в творца, равного по своим возможностям самому Богу, появлением открытий в области науки и т. д. Эпоха Возрождения заимствовала и переработала лучшие традиции средневековья и создала новое научное и художественное мировоззрение, которое дало себя знать во всех областях человеческой культуры и знания.

Сегодня модно говорить о недолговечности Ренессанса, об утопичности его идеалов, о нереалистичности гуманизма и того мира гармонии, которое воплощало в себе искусство Возрождения. Действительно, художники Возрождения верили в гармонию, которая царит в мире и отражением которой является искусство во всех видах – архитектуре, музыке, живописи. Но они же создавали и искусство, в котором раскрывали гротеск и уродство и делали это с не меньшим мастерством, чем создавали идеальные образы. Таковы гротескные головы Леонардо да Винчи, таково искусство Микеланджело, такова живопись Брейгеля. Всё это далеко от наивной гармонии. Быть может, мы сами идеализируем искусство Возрождения, а затем упрекаем его в «титанизме», утопизме и прочих грехах. На самом деле художники и мыслители Ренессанса не меньше, чем мы, знали о слабости и несовершенстве человека, о чем свидетельствуют восхваление глупости Эразмом Роттердамским или скептические максимы Мишеля Монтеня.

Нам, русским, приходится задним числом осваивать этот опыт, так как Россия в свое время не прошла через то революционное движение, которое охватило Европу в XIV–XVI вв. В то время как в Европе происходил подъем экономики, появлялись первые формы капиталистического производства, развивалась урбанистическая культура, Россия боролась за национальную независимость с татаро-монгольскими завоевателями. Тем не менее некоторые гуманистические идеи и настроения пришли в Россию через Византию из Европы и оказали влияние на русскую культуру. Мне представляется, что Андрей Рублев и его школа были отражением этих влияний. Не случайно Рублева называют «русским Рафаэлем». К тому же в начале XX в. Россия переживала свой собственный Ренессанс, который получил название религиозно-философского возрождения. Многие явления этого периода в развитии русской культуры аналогичны европейскому Возрождению, и, как известно, этот период в истории России связан с расцветом искусства и интеллектуальной мысли. Уже одно это обстоятельство делает изучение культуры Возрождения актуальным для русского человека, если он признаёт себя не азиатом, а европейцем. К этому выводу я пришел, изучая историю искусства.

Характерно, что Ренессанс – предмет пристального изучения всех крупнейших историков искусства. У нас в стране это были Б. Р. Виппер, М. В. Алпатов, В. Н. Лазарев, за рубежом – Якоб Буркхардт, Аби Варбург, Бернар Беренсон, Отто Бенеш, Эрвин Панофский, Эрнст Гомбрих. Этот список можно было бы бесконечно продолжать. Вот почему я уделяю сейчас так много труда и времени Ренессансу. В свое время мне удалось издать несколько антологий, посвященных ренессансной философии и эстетике. Надеюсь, что когда-нибудь появится моя собственная книга, посвященная культуре Возрождения.

Учиться в старом здании университета на Моховой было удобно, так как всё было близко, всё было рядом. Например, по вечерам после лекций можно было бежать в консерваторию, где в Малом зале играли студенты и аспиранты. Эти концерты были бесплатные. Более того, я распространял на факультете пригласительные билеты на эти концерты. Теперь многие из тех, кого я тогда слушал, превратились в известных музыкантов, на концерты которых попасть совсем непросто. Недалеко на Арбате был Дом журналистов с прекрасной библиотекой и превосходным рестораном. По вечерам здесь проводились лекции и просмотры по истории отечественного кино, где я получил свое первое киноведческое образование.

Наш кружок по эстетике устраивал совместные заседания с аналогичным кружком консерватории, где старостой кружка была Нонна Григорьевна Шахназарова, великолепный музыковед, чудесный товарищ. На занятиях ее кружка присутствовал Арам Хачатурян, мы впервые прослушивали лейтмотивы его балета «Спартак», который еще не был известен публике. Я много лет дружил с ней, вместе с ней мы готовили к изданию книги в издательстве «Музыка».

С переездом в новое здание университета мы лишились всего этого. Но зато можно было тренироваться в университетском бассейне, лечиться в университетской поликлинике. И, конечно, студенты получили намного более комфортные условия для проживания, чем на Стромынке.

Я помню день открытия нового здания МГУ. Он проходил почему-то не у самого здания, а на смотровой площадке на Ленинских горах. Здесь собрались студенты всех факультетов, был короткий митинг. Настроение было праздничное, верилось, что университет получил новые возможности для развития образования и науки. Трудно сказать, насколько эта вера оправдала себя. Что-то мы приобрели, но что-то утратили.

Сейчас я часто бываю в старом здании университета. Совсем недавно половина здания была отреставрирована, и старый университет преобразился, стал чистым, светлым, уютным. Сейчас здесь располагаются Институт восточных языков, Музей и Институт антропологии, факультет журналистики. Надеюсь, новое поколение студентов найдет здесь прекрасные условия для учебы и работы.

## «Советская энциклопедия»

После окончания философского факультета передо мной встал вопрос о трудоустройстве. Уже на последних курсах я начал подрабатывать, читая лекции по эстетике в провинциальных театрах через Театральное общество. После короткого пребывания в Академии художеств я поступил в качестве научного редактора в Большую советскую энциклопедию.

В начале 60-х гг. старое, официальное издательство «Советская энциклопедия» пережило переходный период. В стране повеяло «оттепелью», появились новые люди, новые идеи, новые надежды. Надо было искать новые типы изданий. Во главе издательства в то время стоял Лев Степанович Шаумян, человек либеральных воззрений, противник культа личности Сталина. Он был в близких отношениях с Микояном, что давало ему некоторую свободу в его издательских планах. Благодаря Шаумяну издательство приняло решение об издании отраслевых энциклопедий – по истории, философии, театру, изобразительному искусству, литературе. В этом длинном ряду Философская энциклопедия была первой, а поэтому и самой трудной, поисковой, экспериментальной.

Строго говоря, энциклопедия – это детище Просвещения. В свое время Дидро и Даламбер мечтали превратить это издание в средство построения новой культуры, основанной на разуме и справедливости. Не скрою, доля просветительского утопизма была и в наших начинаниях.

Для издания Философской энциклопедии нужен был хороший, спаянный коллектив, который бы целиком посвятил себя этому детищу – созданию и обсуждению словника, подбору авторов, написанию принципиальных статей<sup>10</sup>. И в процессе издания необходимо было преодолеть множество идеологических догм, с которыми философия срослась в советское время. Думаю, наш коллектив отвечал этим требованиям. Заведующей редакцией была «старая комсомолка», энергичная женщина Лидия Федоровна Денисова. По образованию она была литературоведом, но с широкими философскими интересами. Позднее ее заменил на посту заведующего редакцией Александр Сергеевич Спиркин, специалист по логике и диалектике. Саша Спиркин, как все мы его называли, старался влить в старые меха новое вино и освежить курсы диалектического материализма, который был обязательной идеологической дисциплиной во всех вузах страны. Его учебник по диалектике пользовался популярностью в вузах, потому что включал свежие примеры из истории науки. Он тогда еще не был членом-корреспондентом Академии наук, но страстно стремился к этому и в конце концов добился своей цели. Для этого он обхаживал Федора Ивановича Константинова, который был главным редактором Философской энциклопедии. В свободное время Спиркин рассказывал нам о своем трагическом прошлом, о том, как и за что он был репрессирован и сидел в тюрьме на Лубянке.

Причиной его ареста послужила неосторожная фраза, которую он бросил, находясь на оборонных работах под Москвой. Он сказал: «Что же это происходит? По радио говорят о достижениях на фронте, а в небе над нами кружат только немецкие самолеты». Кто-то донес эту фразу до органов, и Саша Спиркин, аспирант Института философии, оказался на Лубянке. Здесь его обвинили в шпионаже и дали пять лет тюрьмы, что по тем временам было щадящим сроком. Саша вышел из тюрьмы сразу же по окончании войны, но навсегда в его душе осталась травма, страх, который временами охватывал его. Парадокс того времени: в «Советскую энциклопедию» в отдел рекламы и распространения пришел служить человек, который

---

<sup>10</sup> Философская энциклопедия: в 5 т. / Гл. ред. Ф. В. Константинов; Науч. совет изд-ва «Сов. энцикл.», Ин-т философии АН СССР. М.: Сов. энцикл., 1960–1970. (Энциклопедии. Словари. Справочники). Т. 1 / [Ред. кол. по философии: А. Г. Спиркин, Ю. Н. Давыдов, Б. Т. Григорьян, Н. М. Ланда, З. А. Каменский, А. И. Володин, В. П. Шестаков, М. Г. Абушенко].

присутствовал на допросах Спиркина. Теперь жертва и палач работали в одном учреждении. Такие были времена.

Историю западной философии вел Захар Абрамович Каменский, подтянутый и дисциплинированный человек, специалист по русской философии, который приходил в редакцию с неизменной теннисной ракеткой. Историей русской философии заведовал Александр Иванович Володин, мой старший товарищ по философскому факультету, автор работ о Герцене. Статьи по историческому материализму вел Наум Моисеевич Ланда. Зарубежной философией ведал Юрий Николаевич Давыдов, специалист по Гегелю, приехавший в Москву из Саратова. В одно время мы делили с ним комнату, снятую на Чистых прудах, питались, жили и работали вместе. Впоследствии к нам в редакции присоединился Марк Борисович Туровский, который вел психологию и философские вопросы естествознания. Я в редакции был самым младшим и еще не остепененным, в моем ведении были разделы по этике, эстетике и философии религии.

Надо сказать, мы много работали, многие вопросы решали коллективно. В течение многих лет редакция философии была своеобразным философским клубом, где обсуждались многие проблемы. Мы стремились привлечь к работе не только официальных философов, но и тех, кто долгое время был отлучен от философии. Признаюсь, что благодаря моей инициативе Алексей Федорович Лосев напечатал в этой энциклопедии около ста статей. А ведь до этого ему разрешали заниматься только Гомером и древнегреческой мифологией. Не хочу преувеличивать свои заслуги, но полагаю, что я помог Лосеву вернуться в философию задолго до того, как официально было снято идеологическое табу с этого выдающегося мыслителя. Я привел в редакцию Сергея Аверинцева и Сашу Михайлова, которым филологи не давали ни работы, ни возможности публиковаться. Для обоих наша энциклопедия была трамплином в науку, и я могу гордиться, что это происходило не без моего участия.

Правда, выведение Лосева из подполья, которым все мы занимались, имело свои трудности. Об этом свидетельствует история со статьей «Диалектическая логика». Поскольку это была центральная статья не только первого тома, а всего издания, издательство решило объявить на нее конкурс. Каждая статья присылалась под девизом, и до самого конца, до вскрытия конвертов, никто не знал имени авторов. Такая демократическая процедура не выдержала столкновения с жизнью. По решению членов редколлегии, включая Константинова, первую премию выиграла статья под девизом «Логос». Некоторые члены редколлегии догадывались, кто скрывается под этим девизом. Во всяком случае, В. Ф. Асмус, которого я привозил на машине из Переделкино на заседание редколлегии, сказал мне, что знает, кто ее автор. При вскрытии конвертов выяснилось, что ее автором является А. Ф. Лосев. Константинов пришел в бешенство. Центральная статья марксистской гносеологии написана идеалистом! В итоге он ликвидировал результаты конкурса и нарушил его главный принцип – публикацию статьи, оказавшейся победительницей. А статью, заказав ее другим авторам, перенесли в другой том над названием «Логика диалектическая». Больше Константинов конкурсов проводить не разрешал.

В Философской энциклопедии я напечатал серию статей по эстетическим категориям – «Аллегория», «Гротеск», «Грация», «Ирония». Казус произошел со статьей «Любовь». Я написал большую статью, излагающую историю эволюции этого понятия. Из этой статьи впоследствии выросли мои книги «Культура и Эрос», «Русский Эрос», «Эрос и Логос». Но с меня требовали дефиниции и внесения в статью марксистской этики. Когда я отказался подписывать эту статью, А. С. Спиркин, который вписал в мою статью пару фраз, ничтоже сумняшеся подписал ее своим именем. По молодости лет мне было на это глубоко наплевать. Но история требует справедливости. Так что я восстанавливаю права на эту статью, тем более что она текстуально входит в содержание моих книг, посвященных истории европейского Эроса.

Я проработал в «Советской энциклопедии» семь лет и подготовил к изданию три первых тома. После этого, защитив диссертацию, я ушел в научно-исследовательский институт, где был более свободный режим работы, чем в редакции. К тому же я сам занимался издательской

деятельностью. Я сотрудничал со многими крупными издательствами, с «Искусством», «Академией художеств», «Музыкой», «Прогрессом», в них мне удалось издать большое количество книг по эстетике и философии.

Академия художеств в то время обладала собственным издательством. Когда руководство академии решило издать пятитомную хрестоматию по истории эстетики, они обратились ко мне с просьбой разработать проспект этого издания. Мне же предложили назвать возможного главного редактора этого издания, который должен был его возглавить. Я без колебания назвал имя М. Ф. Овсянникова.

Название этой книги несколько тяжеловесно – «История эстетики. Памятники мировой эстетической мысли». К работе над этой книгой мне удалось кроме Овсянникова привлечь А. Ф. Лосева, В. П. Зубова, А. П. Каждана, П. А. Гринцера, Г. С. Померанца, И. Н. Голенищева-Кутузова, А. Л. Штейна, Г. М. Фридлендера, А. А. Аникста, А. В. Михайлова и других. Всё это были лучшие историки культуры, прекрасные знатоки эстетических памятников соответствующих эпох. Всех их я знал лично, с некоторыми дружил, был близок домами. Многие из того, что было опубликовано в «Истории эстетики», было переведено впервые и подготовлено специально для этого издания. Поэтому работа над книгой была не просто складыванием уже известного и готового знания, это был исследовательский проект, где было место и поиску, и открытиям. Приятно осознавать, что не одно поколение училось и воспитывалось на этой книге. Да и сегодня, несмотря на то что ни одного из моих авторов не осталось в живых, оно до сих пор еще не устарело.

В издательстве «Искусство» мне удалось опубликовать много книг, которые сегодня уже стали библиографической редкостью. Как член редколлегии я участвовал в издании серии «История эстетики в памятниках и документах» (около 50 томов), как автор и составитель я издал здесь антологию «Идеи эстетического воспитания» в 2 томах, «Эстетика Ренессанса» в 2 томах и др. В издательстве «Музыка» я издал шесть томов, представляющих историю музыкальной теории от античности до XIX в. Насколько я знаю, на этих книгах воспитывалось не одно поколение музыковедов и искусствоведов.

В общей сложности с 1965 г. по настоящее время мной издано более 70 книг. Несколько новых книг уже написано и ожидает поддержки фондов для их издания. Издавать стало сложно, издание требует денег и времени. Например, моя рукопись «Бытовая культура итальянского Возрождения» написана уже пять лет назад, но издать мне ее никак не удастся. Сначала я представил ее в издательство «Эксмо», которое подготовило ее к верстке, но потом отложило на два года. Надеюсь, что когда-нибудь она будет все-таки издана. Как известно, рукописи не горят. Не знаю только, удастся ли мне увидеть ее в печати. В. Иванов, директор издательства «Рипп-Холдинг», которому я принес около миллиона денег из фонда РГНФ для издания истории американского искусства, уговорил меня забрать рукопись из «Эксмо», пообещав ее молниеносно издать. Но он оказался чудовищным обманщиком, получил 100 тысяч рублей, а книгу отказался издавать, нарушив условия договора. Точно так же он не заплатил мне авторский гонорар за книгу «История американского искусства», хотя и получил на ее издание довольно крупную сумму из Государственного научного фонда. Мне приходилось в течение 50 лет работать в самых различных издательствах, но ничего подобного Иванову я не встречал. Потом я выяснил, что «Рипп-холдинг» было фиктивным издательством, в котором работали Иванов и его жена. Хочу предупредить всех авторов: не имейте дело с издательством «Рипп-Холдинг». Вас обманут, пообещав «золотые горы», а затем нарушат все авторские договоры. В издательское дело в наше время пришел нечистый на руку народ. В результате я потерял еще несколько лет. Не знаю, удастся ли мне увидеть книгу о Возрождении на своем веку.



## Лекции, студенты и университеты

В моей научной жизни мне приходилось читать много лекций в различных университетах России и в разных странах. Я стал читать лекции еще студентом. В то время эстетика была совершенно новой и популярной дисциплиной. Чтобы заработать на жизнь, приходилось читать лекции в многочисленных кружках по эстетике, которые возникали тогда при художественных театрах в Москве и в Московской области. Организаторами лекций было Театральное общество, которое оплачивало эту лекционную работу. Это были мои первые лекционные опыты и, боюсь, не всегда удачные, так как приходилось считаться с аудиторией, не подготовленной к изучению философии. Более систематические лекции я стал читать позднее, когда сам уяснил себе смысл и значение эстетики для понимания искусства.

Прежде всего я создал свой курс лекций в родном университете, в МГУ им. Ломоносова. Здесь, на историческом факультете, я, будучи студентом, слушал лекции Ивана Людвиговича Маца, интересной личности, участника дискуссий об искусстве периода 30-х гг. и, кстати, автора первой советской книги по истории эстетики – «Лекций по истории эстетики». Иван Людвигович много лет работал в университете. После его смерти декан факультета профессор Виктор Никитич Лазарев пригласил меня к себе в кабинет и предложил занять пост Ивана Людвиговича. Перейти на полную ставку в университет я не согласился, так как был занят исследовательской работой. Но на полставки я стал читать искусствоведам курс «История и теория эстетики». В своих лекциях я пытался выйти за формальные пределы традиционного курса по марксистско-ленинской эстетике. Вместо того чтобы вдалбливать молодым людям стереотипные идеи о партийности и народности искусства, я связывал эстетику с историей искусства, считая, что это поможет студентам в их изучении искусства. Этот курс я читал на искусствоведческом отделении МГУ несколько лет.

Но профессор Лазарев внезапно умер. Его место занял его ученик, автор содержательной книги об итальянском портрете Виктор Николаевич Гращенков. Его собственные лекции были посвящены историографии истории искусства. Это были хорошие лекции. Но писал он мало. Он стал приходить ко мне на лекции и с ужасом обнаружил, что вместо догматического курса лекций по марксистской эстетике я читаю свой собственный курс. Это его испугало, и он потребовал от меня вернуться к догматике. Я отказался и подал заявление об уходе. На мое место взяли человека, который читал догматические пошлости об эстетике. Это Гращенкова устраивало. Наши с ним пути больше никогда не пересекались. Позднее, через 10 лет, я вернулся в МГУ на только что основанный факультет иностранных языков, где читал курс лекций по истории европейских культур.

В дальнейшем я читал многочисленные лекции по эстетике в Художественном институте им. Сурикова на факультете истории искусства, в Институте культуры, где я заведовал кафедрой эстетики. В 70–80-х гг. появилась возможность читать короткие, на несколько учебных часов, курсы лекций в университетах США. Здесь я знакомил американских студентов с русской культурой и искусством. В Москве был основан Международный университет, куда приезжали учиться студенты из США. Среди моих студентов были мормоны, и они подсовывали в мой портфель издания, посвященные их религии. Я же читал им курс русской иконописи. Так, в религиозных дискуссиях, проходили мои занятия с американцами.

В Международном университете я проработал несколько лет, сначала как преподаватель, а затем в качестве заместителя декана по работе с иностранными студентами, читая им лекции по истории российской культуры. Работа с иностранцами налаживалась, но неожиданно в университет пришла Г. Китайгородская, которой, очевидно, было мало ее кафедры в МГУ. Она привела с собой своих коллег, которые разрушили те программы, которые я с таким трудом создавал. Пришлось уйти из этого университета.

Читал я и в других университетах, в частности в Российском государственном гуманитарном университете, где проработал более десяти лет. Из-за болезни пришлось отказаться от этих лекций.

Не могу сказать, что я был очень хорошим лектором. Лекции не были моим призванием. Я знал коллег, которые были талантливыми лекторами. Для меня лекции были способом общения с молодым поколением, но они отнимали время от написания книг и издательской работы. Впрочем, мои лекции, очевидно, сыграли какую-то положительную роль. Об этом я могу судить по воспоминаниям моих бывших студентов. Среди моих студентов-искусствоведов была Светлана Джафарова, которая впоследствии стала прекрасным организатором выставок, таких как «Париж – Москва». Со временем она стала работать в моем секторе теории и истории искусства в Российском институте культурологи. К моему 75-летию она преподнесла мне прекрасный опус, связанный с ее воспоминаниями о моих лекциях в МГУ. Я привожу его ниже.

### **«Ариаднина нить Ренессанса и философ Вячеслав Шестаков (набросок к портрету)**

*Сегодня всё чаще слышишь, как в качестве наивысшей оценки творческого человека, реализовавшего свои разносторонние интересы, употребляется определение “ренессансный”. Так, например, актриса Лия Ахеджакова назвала “ренессансной личностью” известного режиссера и актера Олега Табакова в одной из телепередач на канале “Культура”, посвященной его юбилею. Согласно документам, Леонардо да Винчи при знакомстве представлялся как художник, инженер и архитектор одновременно. Как любая незаурядная личность, Табаков многогранен по своему. А как более точно оценить направленность синтетических занятий художников русского авангарда – и живописью, и архитектурой, и театром, и костюмом, и книгой, и плакатом, и фарфором, и художественным образованием, и музейным строительством, – не употребив столь емкого слова? И таким образом перебросить мостик от одной великой эпохи к другой, пусть и короткой, но насыщенной столь потрясающими открытиями. Именно это достойное и содержательное слово “ренессансный” очень хочется использовать для определения характера и образа жизни нашего современника – Вячеслава Павловича Шестакова, ученого, известного специалиста в области эстетики, теории и истории культуры, профессора, доктора философских наук.*

*Правда, тут же возникает опасность подвергнуться иронии самого Вячеслава Павловича, который посвятил многие годы исследованию именно эпохи Ренессанса. Хорошо известны его книги “Философия и культура эпохи Возрождения. Расцвет Европы”, “Эстетика Ренессанса”, “Шекспир и итальянский гуманизм”. И я точно знаю, как он всегда щепетилен в перенесении этого понятия на явления культуры других времен, а уж тем более советского и постсоветского периодов. Дело в том, что однажды я была свидетелем его возмущенной тирады в адрес нашей коллеги, попытавшейся определить некоторые события отечественной культуры 70–80-х гг. прошлого века как ренессансные. Мне было понятно, какой пафос она вкладывала в рассуждения и тем самым хотела показать*

гуманистическую уникальность и жизнеспособность этого материала на мировой художественной сцене (до сих пор досадно недооцененного).

Признаюсь, я разделяю идею относить позитивных и созидательных людей к категории “ренессансных”; более того, я рада, что они еще встречаются, и, наблюдая многие годы за Вячеславом Павловичем, предлагаю рассматривать и его в этой же “номинации”. Он по-своему органично следует просветительским идеалам эпохи. Наверное, этим можно объяснить и его работу в редакции Большой советской энциклопедии, которой он отдал силы исследователя и природную способность к проникновению в историческую материю, созвучную его внутреннему складу. То есть, образно говоря, ему удалось создать собственный “Ренессанс” в границах одной, отдельно взятой линии жизни. Ведь вертикальная тема культуры “Ренессанс и ренессансы” продолжается, принимая разные формы. В нашем случае сила и магия материала начинают определять личность мыслителя, и в случае Ренессанса – это разговор о высоком предназначении и высоких результатах.

Патетичность сказанного, поверьте, – это лишь словесное пояснение, предваряющее общественную благодарность, которая обязательно материализуется в ближайшем будущем. Благодарность должна достигнуть Вячеслава Павловича неминуемо за тот объем изданных им нужных всем книг, за его несгибаемую волю к новизне и доведению всех своих начинаний до успешного завершения, несмотря на объективные исторические трудности по поиску финансирования и издательств, готовых взяться за столь ответственную работу. За прочитанные им лекции и проведенные семинары в разных институтах у нас и за рубежом, где он по-королевски делится своими знаниями. За поступательность появления необходимых всем публикаций в серии “Памятники философской мысли” или в первом сборнике “Утопия и антиутопия XX века”. За правильную постановку наиболее “русских” вопросов в книгах “Эсхатология и утопия. Очерки русской философии и культуры” (1995) и “Русский Эрос как философия любви в России” (1991). За развитие англо-русских культурных связей, устанавливаемых благодаря его различным книгам, в которых присутствует английская тема. Это и очаровательные миниатюрные сборники его переводов стихотворений У. Х. Одена “Лабиринт” (2003) и Чарльза Коусли “Я – солнце большое” (2006), и “Прерафаэлиты: мечты о красоте” (2004), и “Тиллрей и другие... Золотой век английской карикатуры” (2004), и “Интеллектуальная история Кембриджа” (2004), и “Русские в британских университетах” (2009), и прекрасно иллюстрированная “История английского искусства”. Последняя книга отразила многолетние интересы Вячеслава Павловича ко всему английскому: от наблюдений за национальным характером, сложившихся за время многочисленных путешествий по Великобритании, через анализ наиболее ярких художественных проявлений в искусстве от Средних веков до поп-арта и Люсьена Фрейда. За помощь в подготовке полноценных специалистов и направление научных поисков многочисленных диссертантов. За спортивность и европейский облик, который заставляет всех окружающих подтягиваться за ним уже четыре десятка лет.

Как-то неудобно подвергать пересказу в краткой форме мысли и выводы, к которым приходит Вячеслав Павлович. Лучшие взять в руки и прочитать эти приятно и с толком оформленные книжные “организмы”.

Благодаря личному интересу автора к тому или иному философу, художнику, поэту или целому историческому периоду, явлению или предмету, объем каждой книги обычно соразмерен и гармоничен теме, глубине и прозрачности анализа, четкому отбору явлений, необходимых для создания той или иной картины идей или смыслов, привычке к легкому оперированию и сопоставлению широчайшего материала от античности до наших дней. Вероятно, поэтому его работы поражают ощущением законченности, и достигается это не изобилием, а качеством продумывания информации.

А пока до настоящей благодарности дело не дошло, мы можем даром пользоваться тем, что для нас уже сделал и продолжает делать Вячеслав Павлович. Как прирожденный преподаватель и глава своей маленькой философской академии, где по примеру его любимых итальянцев можно с достоинством обсудить последние исследовательские соображения в форме конференции, круглого стола или простого заседания сектора теории искусств, он, как тонкий медиум, улавливает темы для наших конференций и издает потом сборники, которые полностью отвечают синтетической задаче актуальной культурологии, при этом сохраняя интересы специальности каждого представленного автора – философа, литературоведа, музыковеда, историка искусств. Эта идея хорошо прослеживается в составленных им сборниках «Феноменология смеха. Карикатура, пародия, гротеск в современной культуре» (2002), «Катарсис. Метаморфозы трагического сознания» (2007). Готовится к изданию сборник, посвященный теме путешествия в культуре.

Я знакома с трудами Вячеслава Павловича со студенческой скамьи. Нашей группе отделения истории и теории искусств истфака МГУ им. М.В. Ломоносова повезло. Курс истории эстетических учений нам читал в 1974–1975 гг. именно он. Элегантный, загорелый, одетый в английский пиджак в мелкую клеточку, в отличной спортивной форме, он строго, внятно и ясно формулировал основные идеи огромного пласта человеческой мысли, выделяя самое главное, что касалось искусства и критериев его оценки от Гесиода, Пифагора, Демокрита, Сократа, Платона до Джона Локка, Давида Юма и Хогарта. Он цитировал тексты, давая почувствовать своеобразие автора. Цитировал на языках подлинника, что вселяло необыкновенное уважение. Всё можно было успеть записать и потом подготовиться к экзамену, следуя этим записям, что было особенно важно в эпоху отсутствия толковых учебников. Материал легко запоминался, навсегда. А если вдруг в дальнейшем возникала надобность что-то вспомнить, то тетрадка опять оказывалась очень удобной. Эта тетрадка с лекциями хранится у меня до сих пор, ею пользуется мой сын, ему этот предмет уже так в МГУ не читают. На обложке тетрадки сохранился портрет-знак Вячеслава Павловича, составленный из первых букв его имени, отчества и фамилии. Горизонтально положенная большая буква «В» выпуклой частью вниз изображала крупные модные очки, которые носил лектор. Маленькая буква «П», перевернутая крышечкой вниз, изображала нос, а буква «Ш» изображала мощный, твердый подбородок с мужественной ложбинкой посередине. Придумал этот портрет наш остроумный соученик, который сейчас занимает высокий государственный пост. Тогда казалось очень похоже, стильно и выразительно. Большие никто из преподавателей такой внешностью не обладал, а портрет нашего философа оказался лаконичнее

*и убедительнее, чем у художницы русского авангарда Любови Поповой в 1914 г. (там буквы тоже включались в изображение). Но, безусловно, самым интересным было то, что он был учеником В. Ф. Асмуса по университету, имел самостоятельные суждения по оценке Возрождения в диалоге с А. Ф. Лосевым, активно жил в гуще всех последних достижений отечественных и европейских мыслителей.*

*В жанре “человеческого отклика”, который мне был предложен редакцией журнала, важно отметить о современнике такого масштаба следующее. Вячеслав Павлович находится в постоянном стремительном движении, и всё, что ему интересно, превращает в публикации, как настоящий проповедник, готовый немедленно поделиться своим новым знанием. Следование же завету “в здоровом теле...” также доведено до высоких спортивных результатов, подкрепленных документально, и стало главным условием его творческой бодрости. Непрерывные занятия спортом: в молодости – подводным плаванием и до сегодняшнего времени – теннисом, логически вызвали интерес к истории спорта и его связям с культурой. В начале 2000-х гг. появились две увлекательнейшие и с любовью проиллюстрированные книги “История тенниса. От игры королей до королей игры” (2000) и “В раю мы будем в мяч играть. Литературная антология тенниса” (2002).*

*Интересно, что те узкие области, в которых Шестаков сыграл пионерскую роль (например работы, посвященные исторической памяти), требуют отдельного внимательного прочтения в контексте появившихся интересов более поздних исследований. Ценность его первоначального видения любой проблемы сохраняется по сей день. “Неустаревание” написанного – характерная черта научных работ Вячеслава Павловича. Он часто идет на публикацию отложенного текста, снабжая его небольшими доработками. Это он продемонстрировал, например, отложив на четверть века публикацию своего труда по эстетике Возрождения, уступив пальму первенства Лосеву. Даже знакомство с фантастически продуктивной творческой биографией Вячеслава Павловича облегчена им самим и превращена в увлекательные живые воспоминания. В 2008 г. опубликовал небольшую книгу “А прошлое ясней, ясней, ясней: воспоминания шестидесятника” – автобиографию как историю своих научных занятий, воспоминания о встречах, путешествиях, важных наблюдениях. И, главное, он делится опытом своей жизни на фоне истории нашей страны. В 2010 г. составил перечень своих трудов в серии “Ученые РГГУ”, насчитывающий двести семьдесят названий книг и статей и пронизанный нитями его постоянных интересов и тем, подтверждающих его первоначальный выбор.*

*Новые темы угадываются им из воздуха Времени. Что-то особенно актуальное и недосказанное, не проясненное до конца другими, он увидел в каком-то объявлении за границей со словом “катарсис”. Так родился замысел темы конференции и сборника в нашем институте – “Катарсис. Метаморфозы трагического сознания” (2006–2007). Раздвижение границ, оригинальность и новизна сказываются во многих начинаниях Шестакова: от первых публикаций забытых текстов в книге “Утопия и антиутопия XX века” (1990) до идеи проведения своего юбилея в обновленном и только отреставрированном нижнем этаже здания нашего института. Напомню, что Российский институт культурологии занимает одно из старейших*

*гражданских зданий Москвы, которое расположено на набережной напротив храма Христа Спасителя. Этот дом, известный как палаты думного дьяка Аверкия Кириллова, является уникальным памятником архитектуры XVI – XVII вв. Впервые за много лет, в дни юбилея Вячеслава Павловича, институт на высоком светском уровне принимал гостей, которые сразу оценили установившуюся благодаря ему непринужденную атмосферу. Во многом этому способствовала и выставка книг, написанных Вячеславом Павловичем. В белых сводчатых залах горели свечи, звучала подобранная по вкусу юбиляра живая музыка, предлагалось по-московски щедрое угощение. Оригинальное решение такого события, как день рождения (опасного возможностью превратиться во что-то скучное и обыденное) также свидетельствует о молодости шестидесятника, который показал в этот вечер вместе со своей супругой Леной еще и высокий класс рок-н-ролла. В результате юбилей превратился в эстетическое событие жизни нашей культуры.*

*Интересно, что нежелание отказываться от любимой им эстетики прозвучало и в его выступлении на Культурологическом конгрессе в Санкт-Петербурге (октябрь 2010 г.). Главная идея этого выступления прозвучала в эссе “Преждевременные похороны эстетики”, которое стало заключением юбилейной автобиографической статьи “Биография как библиография”, – новая постановка назревшей проблемы соседства в едином культурном поле изобразительного искусства или актуального творчества. Вячеслав Павлович, как ему это свойственно, опять уловил что-то нужное для всех».* (Джафарова С. Г., 2010)

Я очень благодарен Светлане за эти воспоминания и эмоциональное восприятие моих лекций. В конце концов, то, что мы делаем, остается в памяти поколения и формирует культуру. Я сам обязан многим лекторам, которых я слушал в период моего университетского образования, – В. К. Скатерщикову, Л. Маце, М. Ф. Овсянникову. О многих из них я пишу в этих воспоминаниях. Такой связи поколений, на мой взгляд, обязана живучесть научной мысли, ее переход от старших поколений к младшим.

## Российская академия художеств

После окончания университета я искал работу. Неожиданно я узнал, что появились вакансии в Институте теории и истории изобразительных искусств Академии художеств. Директор института Федор Иванович Калошин решил взять в каждый сектор по старшему лаборанту. До сих пор не знаю, почему эта должность называлась «старший», младше этой должности никакой другой в институте не было. Да и зарплата была самой минимальной.

Заведующим сектором эстетики, куда я был принят на эту высокую должность, был Вячеслав Мстиславович Зименко, по совместительству редактор журнала «Искусство». Это был тихий, вкрадчивый человек с постоянно опущенными веками. Работа лаборанта не занимала много времени, и мои коллеги шутили, что я взят на должность лаборанта, чтобы, как гоголевскому Вию, поднимать веки Вячеславу Мстиславовичу. В секторе работали также замечательные искусствоведы Нина Алексадровна Дмитриева, Николай Николаевич Волков, Лидия Яковлевна Рейнгардт. И вместе со мной в институт пришел Борис Шрагин, человек больших знаний, огромного юмора, большой социальной ответственности. Он учился на философском факультете в тяжелое послевоенное время, с 1945 по 1949 г. Потом он уехал в Свердловск, где преподавал в школе, в которой учился Эрих Соловьев, мой однокурсник по философскому факультету. Как признается Эрих, именно он и заразил его интересом к философии. Борис был веселым и общительным человеком. Зарабатывал он на жизнь лекциями по эстетике. Потом мы работали вместе с ним в секторе эстетики Института истории изобразительных искусств. Позднее Борис принял активное участие в правозащитном движении вместе с генералом Григоренко, выступая против советской бюрократии в защиту Солженицина и Сахарова. В результате в 1974 г. он вместе с женой Натальей Содомской покинул СССР и уехал в Нью-Йорк. В Америке Борис продолжал публиковать свои работы на английском языке, выступал на радио «Голос Америки». Я навещал его в Нью-Йорке, который Борис полюбил, и он показывал места, которые ему особенно нравились. Уезжая из России, Борис написал вступительную статью к подготовленной издательством «Искусство» книге статей Уильяма Морриса. Он не мог издать эту работу под своим именем, и она была подписана Александром Абрамовичем Аникстом, шекспироведом и специалистом по английской литературе. Но на самом деле, по свидетельству жены Шрагина, крупного антрополога, эта статья принадлежала Борису. Об этом я узнал только от нее. Сам Александр Абрамович никогда не признавался мне в этой истории. К сожалению, Борис рано ушел из жизни, он много курил, умер от рака легких и был похоронен, если не ошибаюсь, на нью-йоркском кладбище. Его памяти я посвятил свою книгу о прерафаэлитам, о чем свидетельствует памятная надпись на титуле книги.

На период моей кратковременной работы в институте пришлось празднование двухсотлетия Академии художеств. Это событие праздновалось помпезно, были приглашены многие иностранные гости. Мне поручили чисто техническую работу, я был ответствен за машины, на которых привозили гостей из аэропорта. Было много приемов, праздничных обедов. Помню, как на один из них в Доме художника пришел молодой человек. Он сказал мне: «Я – художник. Но мне трудно продавать мои картины. Приходится бедствовать. Пожалуйста, познакомьте меня с иностранцами. А то мне не на что купить рубашку». Для убедительности он расстегнул пиджак. Действительно, под ним была только майка. Это был художник Илья Глазунов. Надеюсь, что моя помощь пошла ему на пользу и теперь у него, наверное, есть на что купить рубашку.

В Академии художеств я познакомился с сыном Сергея Прокофьева – Олегом. Он тогда занимался индийским искусством. Я подружился с ним, поскольку обожал и, как полагал, хорошо знал музыку его отца. Однако это оказалось ошибкой. Олег дал мне прослушать французскую пластинку с записью оперы Сергея Прокофьева «Огненный ангел», которую я никогда

не слышал. Она открывала совершенно новую сторону в творчестве композитора, о которой я не подозревал.

Потом Олег женился на англичанке и уехал в Лондон. Я потерял с ним связь. Но оказалось, что мои английские друзья, у которых я часто останавливался в их загородном доме в Уэльсе, – соседи Олега в Гринвиче. Мой бывший коллега по институту бросил искусствоведение и занялся кинетической скульптурой. Мне не хотелось напоминать ему о себе после многих лет. Многое за это время изменилось, и могли измениться люди. Но, как выяснилось, это было ошибкой. Друзья рассказали ему обо мне, и он попросил меня позвонить и посетить его в Лондоне. В день, когда я собрался это сделать, я развернул газету и увидел некролог о неожиданной смерти Олега. До сих пор виню себя за то, что не встретил его раньше. Страшно жалко, что этот интеллигентный, талантливый человек так рано ушел из жизни.

Помню скульптора Эрнста Неизвестного. Он был блестящим полемистом, выступал на многих московских конференциях, требуя свободы и многообразия в творчестве. Он смело полемизировал с Никитой Сергеевичем Хрущевым на выставке в Манеже. Хрущев продолжал политику партийного руководства искусства, и то искусство, которого он не понимал, объявлял абстракционизмом. Довольно истеричное выступление Хрущева в Манеже дало сигнал для усиления цензуры в сфере искусства. Волны от выступления Хрущева превращались в цунами, сметая на своем пути слабые ростки «оттепели». Замечательный, тонкий искусствовед Нина Александровна Дмитриева лишилась должности заведующего сектором эстетики в Институте всеобщего искусствознания, потому что в день выступления Никиты Сергеевича провела конференцию, прямо противоположную агрессивной эстетике генерального секретаря, претендующего на роль законодателя в искусстве. Эрнст Неизвестный же эмигрировал в США, где и сейчас счастливо процветает.

Работа старшего лаборанта в секторе эстетики не была слишком обременительна. В этом секторе не было архивов, картотек или иллюстраций, как в других секторах. В свободное время я написал несколько статей для готовящейся к изданию Философской энциклопедии. Статьи эти понравились, и в результате меня пригласили на должность научного редактора в издательство «Советская энциклопедия».

Так что лаборантом в Академии художеств я проработал сравнительно недолго, не больше года. Но затем судьбе было угодно, чтобы я вернулся в Институт теории и истории изобразительных искусств. М. А. Лифшиц, который был заведующим сектором эстетики, пригласил меня на должность старшего научного сотрудника сектора, а после его смерти я стал заведовать сектором. На этот раз я проработал в академии десять лет, с 1983 по 1993 г. За это время я издал серию коллективных работ моего сектора – об эстетике Дидро, Винкельмана, Уильяма Морриса, Уильяма Хогарта. Я составил сборник об академиях искусств мира, который, к сожалению, остался неопубликованным.

Институт находился в сложных отношениях с президиумом Академии художеств. Президиум рассматривал институт как подсобное учреждение, не придавая ему большого значения. Академия жила своей жизнью – выборами членов академии, организацией выставок, устройством юбилеев, раздачей званий и премий. Она стремилась контролировать художественные институты, находящиеся в ее подчинении. В течение многих лет я вынужден был ездить в Ленинград в качестве члена экзаменационного совета в Институт им. Репина. Я тяготился этой должностью такого штатного ревизора, тем более что она отнимала время от исследовательской работы, но вместе с тем это позволяло вникнуть в проблемы художественного образования и обучения.

Я не пытался общаться с академиками в отличие от других сотрудников института, которые стремились получить академическое звание. Тем более что я убедился в консервативности этой организации. В академии существуют почетные члены из числа иностранных художников и искусствоведов. Будучи в Лондоне, я получил согласие Эндрю Уайеза баллотироваться в



российскую академию. Уайез был членом многих академий как в Европе, так и в США. Иметь его в качестве иностранного члена было бы почетно. Но президиум академии, в который я обратился с докладной запиской, проигнорировал мои предложения и отказался от кандидатуры крупнейшего американского художника.

Вместе с тем академия сетовала на то, что у нее нет связи с Британской академией искусства. Я по своей инициативе посетил эту знаменитую академию и познакомился с ее тогдашним президентом Роже де Гри. Посетив академию, я позвонил в дирекцию и сказал, что хотел бы встретиться с президентом. Мне сказали: «Ждите, к вам выйдут». Через несколько минут появился невысокий человек, который повел меня в залы академии. Я спросил у провожатого, могу ли я увидеть президента. «Я и есть президент», – ответил провожатый.

Несмотря на аристократическое происхождение и звание сэра, Роже де Гри был человеком демократического склада, многое делал сам, не полагаясь на аппарат секретарей и помощников. Он показал мне выставочные залы академии, роскошную библиотеку, где хранятся все документы, связанные с историей академии, мастерские, в которых учатся студенты. Роже де Гри объяснил мне причины, по которым английская академия не общается с российской. Вина лежала на отечественных бюрократах от искусства. С той поры я в каждый мой визит в Лондон посещал Роже де Гри и общался с ним. Только после его смерти я узнал, что он сам был хорошим художником. В зале академии была представлена мемориальная выставка его картин.

Сравнение Королевской и Российской академий было не в пользу последней. Даже как сотрудник академии я не мог свободно общаться с президентом, его окружали многочисленные помощники и секретари. В Лондоне я познакомился также с библиотекарем академии и получил возможность работать в прекрасной академической библиотеке. Я ознакомился с документами, связанными с историей Британской академии, и опубликовал на эту тему ряд статей. Последняя: «Королевская академия художеств в Лондоне. Пути развития и связи с Россией» (журнал «Собрание». 2006. № 1).

Моя работа в институте окончилась совершенно неожиданно. В начале 1993 г. я был уволен из института в качестве невозвращенца из заграничной командировки. Когда я вернулся с некоторым запозданием из Англии, я узнал, что я уволен, а мой сектор расформирован. В течение некоторого времени я оставался безработным, и перерыв в моем трудовом стаже до сих пор влияет на мою и без того жалкую пенсию. Всю эту акцию провел директор института В. В. Ванслов.

Ванслова я знал многие годы. Сначала он был музыковедом и написал диссертацию об интонационной природе музыки. Но там произошли какие-то неприятности с рукописями Асафьева, и Ванслов вынужден был уйти из консерватории. Писал он о чем угодно – от романтизма до социалистического реализма. Одно время он подвизался в Институте философии, но и здесь его ждали неприятности. Он был осужден на несколько лет по статье о совращении малолетнего мальчика в общественной бане. Помню, как жена Ванслова ходила с письмом, ходатайствовавшим о смягчении наказания своему сексуально нестандартному мужу. Но обычно Ванслов был человеком компромисса, он всегда был буфером между Президиумом академии и институтом. Что же заставило его пойти на такой решительный шаг, оставить без работы человека, с которым он сотрудничал несколько десятков лет?

Думаю, причиной моего увольнения послужили не вопросы дисциплины. Тем более что мое отсутствие в какой-то мере спасало ограниченный фонд зарплаты. Очевидно, причины были более серьезные.

В начале 90-х гг. наш институт переживал кризис. Исчезли издательства, которые до этого печатали продукцию института, не было денег для выплаты заработной платы сотрудников. В этих условиях В. В. Ванслов начал собирать в институт тех людей, которые еще недавно были вершителями судеб и служили в ЦК КПСС. Из этой, уже бывшей, организации в институт пришел в качестве заместителя директора института Е. В. Зайцев, бывший сотрудник отдела

культуры ЦК, в хозяйственный отдел был принят бывший начальник гаража ЦК КПСС. Мы постепенно становились филиалом этой терпящей крах организации.

Я же в 1990 г. подал заявление о выходе из партии. В советское время заниматься идеологической работой, не будучи членом партии, было невозможно. Все мы платили членские взносы, ходили на партсобрания. Я был первым в институте, кто вышел из партии. Потом уже был массовый обвал. Я помню, что Е. В. Зайцев и В. Г. Арсланов, который был в то время секретарем партийной организации, вызвали меня в дирекцию и долго допрашивали о мотивах моего, на их взгляд, неблагоприятного поступка. Я отказался отвечать на их вопросы, поскольку всё это походило на допрос. Думаю, что В. В. Ванслов, с которым у меня до этого были неплохие отношения, уволил меня под давлением партийных лидеров, которые отомстили мне за то, что я публично распрощался с Коммунистической партией. Такова была цена, которую пришлось мне платить за прощание с партией.

Теперь я надеюсь, что академия переменялась. Может быть, власти у нее поубавилось, но денег стало больше. Новый президент отвоевал целый квартал для Академии художеств и для своей собственной галереи. Действительный член академии В. В. Ванслов, уживавшийся со всеми режимами, ужился и с новым начальством. По этому поводу существует парафраз на тему горьковского «Буревестника» о том, как «тучный Ванслов робко прячет тело грузное в утесах Академии художеств». Действительно, уютное свил себе гнездышко. Недавно он выпал из этого гнездышка, ушел на пенсию. Удивительно, сколько зла людям и науке принес этот, казалось бы, мягкий человек с его эластичной совестью.

## **Институт философии: судьбы философской мысли в России**

Все мы – студенты философского факультета, так или иначе были связаны с Институтом философии. Мы часто посещали его, потому что там работали наши преподаватели, с которыми мы дружили. Некоторые, как, например, Эрих Соловьев, Пиама Гайденоко, после окончания факультета поступили в институт и сегодня работают там.

Недавно Институту философии исполнилось 80 лет. Я рекомендую каждому, кто в какой-то мере интересуется вопросами философии, прочитать книгу «Наш философский дом. К 80-летию Института философии в России», которая недавно вышла в издательстве «Прогресс-Традиция».

Пусть читателя не обманет тот факт, что книга написана к юбилейной дате и поэтому по характеру должна носить праздничный характер с оптимистическими, застольными статьями. На самом деле это горький документ эпохи, свидетельствующий о трагической судьбе философской мысли в советской России. Мне кажется, что судьба эта более трагична, чем история советской литературы или поэзии, в которой тоже немало трагических страниц. Фактически книга повествует об ожесточенной борьбе советской власти против российского интеллекта. Власть и Интеллект – две силы, которые противостоят друг другу. Когда Власть не может подчинить Интеллект, заставить его работать на себя, она его безжалостно убивает. Так было уже в античную эпоху, о чем свидетельствует история Сократа. Так продолжается и в наше время, о чем убедительно повествует описываемая книга.

В России эта война началась уже в первые годы установления советской власти, с самоубийственной акции В. И. Ленина, загрузившего «философский пароход» лучшими умами России и отправившего его в неопределенное географическое пространство, практически в никуда. Пароход прибыл во Францию, значительно обогатив европейский интеллектуальный потенциал и существенно опустошив российский. В результате Россия лишилась двухсот самых выдающихся русских интеллигентов, среди которых большую часть составляли философы и религиозные мыслители. Факт этот хорошо известен, о нем много писали, и поэтому нет смысла на нем останавливаться. Так началась в России война Власти против Интеллекта. Правда, она велась и в период царизма, но не такими методами и не в таком масштабе.

Но, как известно, природа не терпит пустого пространства. Постепенно философскую пустошь стали заполнять сам Ленин «со товарищи», но в большинстве случаев это были доморощенные философы, выучившие азы философии в партийных школах. На этой почве в 1929 г. в Москве и возник Институт философии.

Так или иначе, философский факультет питался тем, что создавалось в Институте философии. Судьба института была сложной. В течение своего существования он управлялся пятнадцатью директорами, людьми с различной степенью философской образованности. Первым директором был А. М. Деборин, который возглавлял институт с 1928 по 1931 г. За ним последовали В. В. Адоратский (1931–1939), П. Ф. Юдин (1939–1944), В. И. Светлов (1944–1946), Г. С. Васецкий (1946–1947), Г. Ф. Александров (1947–1954), П. Н. Федосеев (1955–1962), Ф. В. Константинов (1962–1968), П. В. Копнин (1968–1971), Б. М. Кедров (1973–1974), Б. С. Украинцев (1974–1983), Г. Л. Смирнов (1983–1985), Н. И. Лапин (1985–1988), В. С. Степин (1988–2005), А. А. Гусейнов (с 2006). Поражает калейдоскопическая смена имен, большинство были директорами всего несколько лет. Выходцы из бедных семей, они получали скудное образование, не были знакомы с западной философией, не знали иностранных языков (за исключением Деборина, который самоучкой выучил 8 языков). Становясь во главе института, они развязывали идеологический погром против своих противников либо сами становились жертвами

доносов и идеологических нападок. Как правило, они становились докторами или академиками без защиты диссертаций. Их литературное наследие было таким скудным, что даже при желании их было невозможно публиковать, как это случилось с П. Ф. Юдиным. Биографии директоров Института философии демонстрируют парадоксальную картину подъемов и падений с философского олимпа.

В книге «Наш философский дом» приводятся многочисленные воспоминания его бывших и нынешних сотрудников. Здесь слышны личные голоса, рассказы о различных людях, различных периодах жизни института. Интересны воспоминания Т. И. Ойзермана, В. А. Лекторского, А. В. Гулыги, В. В. Соколова, Э. Ю. Соловьева, Н. В. Мотрошиловой. Каждый из них по-своему рассказывает о жизни института, и довольно часто эти воспоминания открывают какую-то малоизвестную страницу истории. Помимо философского творчества институт внес серьезный вклад в сатиру, которая пышным цветом расцвела в стенгазете института, вывешенной в коридоре. Знакомиться с этой газетой приходила вся интеллектуальная Москва. Здесь красовались перлы Саши Зиновьева, Эвальда Ильенкова, стихи Эриха Соловьева. Кстати, интервью с Соловьевым мне кажется самым достоверным, критичным и даже самокритичным документом книги. Этим оно отличается от воспоминаний Гулыги, в котором Арсений Владимирович, вспоминая карикатуры на эстетика В. А. Разумного, иллюстрирующие философский памфлет М. А. Лифшица «В мире эстетики», вдруг неожиданно пишет, что в этом памфлете «Лифшиц раздел самого себя». Я знаю, что А. В. Гулыга был недоволен ремарками Лифшица в свой адрес, но он мог бы полемизировать с Лифшицем при его жизни, а не порочить ушедшего из жизни человека, это выглядит как-то непорядочно.

В книге приводятся два списка, которые завершают историю института: список философов, погибших на фронтах Второй мировой войны, и список философов, репрессированных в годы советской власти. В первом списке 10 человек, это имена тех, кто ушел на фронт и погиб в боях за родину. Во втором списке числится 115 человек. Как видно, советская власть уничтожала своих ученых более активно, чем военная машина фашистов. В советское время свободомыслящие философы (ведь что такое философия, как не наука свободно мыслить?) были смертниками. Власть не прощала попыток мыслить не по шаблону, не по предписанию. Те, кто стремился выжить, должны были отказаться от себя, от своих идей, предавать других, обвинять их как пособников вражеской идеологии. Но и их, как мы знаем, ждала та же печальная участь. Физически Власть могла победить и уничтожить инакомыслящих, но интеллектуально это была пиррова победа. Она неминуемо приводила власть к поражению.

Любопытно, что отношение Власти к Интеллекту и философской мысли остается тяжелым наследием былого режима, которое сохраняется и по сей день. Об этом свидетельствует следующий факт. Музей им. Пушкина выселяет институт из исторического здания, которое он занимает с 1929 г. Музей уже достаточно расширил свои владения вокруг здания, основанного Цветаевым. Насильственное выселение института – это по сути дела возврат к сталинской системе отношения к философии. Философия опять отправляется если не в ссылку, как это было на «философском пароходе», то на высылки. Сегодня мы пытаемся построить высокотехнизированное общество, вкладывая человеческие и финансовые ресурсы в технотронику, информационные системы и т. д., но при этом забываем, что техника, лишенная Интеллекта, утратившая философскую основу, может привести только к торжеству технократии и утрате гуманистического начала в обществе, итогом чего может стать только катастрофа, которая неоднократно уже описывалась в современных антиутопиях, да и отчасти уже реализовывалась на практике.

Судьба Института философии, его сотрудников и его изданий – это судьба нашей отечественной философии. Сегодня она нуждается в поддержке. Хотелось бы поблагодарить авторов и издательство «Прогресс-Традиция» за написание и издание прекрасной книги, сочетающей документальность с живостью личных воспоминаний.

## Беседы с А. Ф. Лосевым

Настало время рассказать о моих отношениях с Алексеем Федоровичем Лосевым (1893–1988). Несомненно, он является одним из выдающихся мыслителей XX в., который по масштабам своего творчества и глубине мысли может сравниться с такими русскими философами, как Николай Бердяев и Сергей Булгаков. Мне посчастливилось встречаться с ним, работать и в течение многих лет дружить. Об этих встречах хотелось бы рассказать.

Впервые я встретился с ним в 1956 г., когда я был еще студентом. О Лосеве я узнал из рецензии на его работу «Олимпийская мифология в ее социально-политическом развитии», опубликованной в газете «Советская культура». Рецензия была не только положительная, но и восторженная, занимала весь газетный подвал. Я достал ежегодник Педагогического института, где была опубликована работа Лосева, и залпом прочел ее. Было видно, что это была оригинальная работа, в основе которой была интересная концептуальная модель. Лосев доказывал, что древнегреческая мифология была в основе своей родовой общиной, опрокинутой на природу и космос. Несмотря на то что в этой концепции было многое от Дюркгейма, она казалась свежей и методологически обоснованной.

В то время я готовился к написанию своей дипломной работы «Маркс и античность» и меня интересовала роль мифа в античной культуре. Поэтому я отважился встретиться с Алексеем Федоровичем без всяких рекомендаций и звонков. Да и кто мог помочь мне, молодому студенту? В результате я пошел в Педагогический институт, где в коридоре встретил высокого старика в черной академической шапочке на голове, с орлиным носом – это и был Лосев. Поначалу он встретил меня настороженно и неприветливо, но, узнав, что я студент В. Ф. Асмуса, несколько оттаял. В конце концов он пригласил меня к себе домой в арбатскую квартиру, прямо напротив Вахтанговского театра. С тех пор мои посещения этого дома стали более или менее регулярными. Позднее я переехал в Большой Афанасьевский переулок (тогда улица Мясковского) и стал соседом Алексея Федоровича, мне требовалось менее пяти минут ходьбы до его жилища. Поэтому мои посещения Алексея Федоровича стали регулярными, и это позволило мне узнать от него многое из его жизни.

Во время моих посещений арбатской квартиры Лосев рассказывал мне о своей жизни. Он родился 23 сентября 1893 г. в большом казацком селе на Кубани. Его отец был учителем гимназии, но увлекался музыкой, играл на скрипке и руководил казачьим хором. Очевидно, отец привил сыну любовь к музыке. Молодой Лосев тоже хотел стать музыкантом, как и отец, он занимался игрой на скрипке. Но отец ушел из семьи, и воспитание сына взяла на себя мать. Она переехала в Новочеркасск, где сдавала дом внаем. Окончив гимназию в Новочеркасске, Алексей в 1911 г. приехал в Москву, где поселился в общежитии на Красной Пресне. За 16 рублей он снимал отдельную комнату, хотя столовая была общей. Он поступил в Московский университет сразу на два отделения – философское, где он занимался под руководством профессора Челпанова, и на классическое, где он занимался филологией. В Москве Лосев продолжал занятия музыкой, но ухудшающееся зрение не позволяло ему читать ноты. В конце концов, он всё свое время посвятил философии и филологии. В 1915 г. он окончил университет, защитив диплом на тему «Мировоззрение Эсхила». Начиная с 1919 г. Лосев преподавал в Нижегородском университете. С 1922 г. он становится профессором консерватории, где счастливо сочетает философию и музыку.

Будучи студентом первого курса, Лосев стал посещать заседания Религиозно-философского общества Владимира Соловьева, получив разрешение на эти посещения от своего профессора Челпанова, правда, только на правах слушателя, без права выступлений. В этих заседаниях принимали участие Н. Бердяев, С. Булгаков, Ф. Степун, В. Иванов, И. Ильин, С. Франк.

«Многих я знал, – говорил мне Лосев, – но потом порвал с ними. Даже держать их произведения в библиотеке было опасно».

В 1916 г. была опубликована первая работа Лосева – «Эрос у Платона», в сборнике, посвященном его учителю Г. И. Челпанову. Это была классическая тема для русского философского идеализма. Наряду с этим Лосев занимается изучением русской философской традиции. Результатом явилась статья «Русская философия», которая появилась на немецком языке в швейцарском журнале «Русланд» в 1919 г. Наиболее плодотворными в жизни Алексея Федоровича оказались 20-е гг. За это десятилетие он издал восемь наиболее значительных своих философских книг: «Музыка как предмет логики», «Античный космос и современная наука», «Диалектика художественной формы», «Философия имени», «Очерки античного символизма и мифологии». «Диалектика числа у Платина», «Критика платонизма у Аристотеля», «Диалектика мифа». Все эти книги были изданы в таинственном «Издательстве автора», которым на самом деле, как мне признался Алексей Федорович, было издательство «Учпедгиз», в котором Лосеву покровительствовал Лебедев-Полянский.

К теме русской философии Лосев возвращается в начале 1940 г., когда он пишет статью «Основные особенности русской философии», а затем в своих поздних работах, посвященных Владимиру Соловьеву, – «Вл. Соловьев» (1983) и «Владимир Соловьев и его время» (1990). Обстоятельные высказывания о русских мыслителях начала XX в. содержатся в послесловии Лосева к книге А. Хюбшера «Мыслители нашего времени» (1962), апокалипсическое название которой – «Гибель буржуазной культуры и ее философии» – продиктовано атмосферой идеологической борьбы того времени. Эта статья поразила своим нигилистическим пафосом В. Ф. Асмуса, о чем подробно рассказывает в своих воспоминаниях В. В. Соколов.

Алексей Федорович в своих рассказах о русских мыслителях давал их живописные портреты, порой сохраняя интонации и обороты речи описываемых им персонажей. Особенно часто он рассказывал о Федоре Степуне: *«Он был одновременно и аристократом, и актером. Полурусский, полунемец, он казался мне красавцем и был действительно прекрасно образован, и замечательно говорил. Я не знаю никого, кто бы умел так замечательно говорить. Это был один из немногочисленных мыслителей-ораторов»*. Степун восхищал Лосева не только умением ораторствовать, но и способностью талантливо мыслить и писать. Он высоко отзывался о книге Степуна о сути трагизма, о его глубоком знании немецкого романтизма.

Большой интерес у Лосева в его молодости вызывали личность и книги Василия Розанова. Правда, его отношение к писателю было двойственным: с одной стороны, его восхищали писательский талант Розанова, афористичность его мышления, а с другой – он не мог принять его нигилизм и цинизм. Лосев нарисовал мне следующий портрет Розанова:

*«Я знаю только трех европейских мыслителей, которые могли так анархически размышлять. Это – Уайльд, Ницше и Розанов. Причем последний из них – самый талантливый. Это был человек, который всё понимает, но ни во что не верит. Я помню его книги – “Темный лик”, “Люди лунного света”. В них были такие серьезные возражения против христианства, которые и не снились ни одному нашему антирелигиознику. И вместе с тем он глубоко писал о религии. Об античности Розанов говорил, что она пропитана запахом мужского семени. В своих книгах он не стеснялся при всех штаны снимать. Когда я спросил у Павла Флоренского, кого из русских мыслителей он ценит более всего, он назвал Вячеслава Иванова и Василия Розанова. Хочешь знать, что такое Розанов? Это красивая медуза. В воде она сверкает всеми цветами радуги, а вытацишь на берег – одна слизь»*.

Эти отношения любви и ненависти, притяжения и неприятия Лосев выразил и в послесловии к книге Хюбшера.

*«В те годы мало кто понимал Василия Розанова, поскольку этот человек сам всё сделал для того, чтобы никто не понял его собственной сущности. Василий Розанов был чернотенный политикан, верующий во все религии и, собственно говоря, ни в одну из них. Мистик*

*и атеист, одновременно и невероятный циник и часто порнограф. Этот человек превращал все великие культуры прошлого только в ряд своих изысканий и острейших ощущений, просто смакуя всё святое и несвятое как вкусное блюдо. А главное, мировая литература, не исключая Уайльда, не исключая даже Ницше, не исключая даже Достоевского, еще никогда не рисовала и личного, и общественного бытия в таком анархическом самоотрицании, в такой близости к мировой катастрофе, как это выходило под пером Василия Розанова»<sup>11</sup>.*

Изошренно критикуя Розанова, объявляя его черносотенцем и порнографом, Лосев, очевидно, испытывал симпатию к писателю. Он не раз говорил, что хотел бы написать о нем книгу, но так и не решился это сделать.

Вспоминал Лосев часто и Павла Флоренского, которого он высоко ценил и как философа, и как теолога. В первые годы после революции 1905 г. он читал публичные лекции.

*«Тихим и едва слышимым голосом, с вечно опущенными вниз глазами, он вещал, что ничего не должно оставаться на прежнем месте, что всё должно терять свое оформление и свои закономерности, что всё существующее должно быть доведено до окончательного распада, распыления, что покамест всё старое не превратится в чистый хаос и не будет истерто в порошок, до той поры нельзя говорить о появлении новых и устойчивых ценностей. Я сам слышал эти жуткие доклады и теперь прекрасно отдаю себе отчет в их полной исторической обоснованности»<sup>12</sup>.*

Лосев высоко ценил труд Флоренского «Столп и утверждение истины». В своей книге «Античный космос и современная наука» он писал, что Флоренский вскрыл «мировую первосреду», лежащую в основе греческой философии.

На заседаниях Религиозно-философского общества Лосев познакомился со знаменитым поэтом-символистом Вячеславом Ивановым. Здесь в 1911 г. он слушал его доклад «О границах искусства», который позднее вошел в его книгу «Борозды и межи». Позднее Лосев неоднократно обращался к этой работе Иванова, сравнивал его идеи с «Рождением трагедии из духа музыки» Фридриха Ницше. Он говорил, что Иванов перенес идеи Ницше об «аполлонийском» и «дионисическом» началах из аттической трагедии на общехудожественную область. Со своей стороны Вячеслав Иванов обратил внимание на молодого студента, занимающегося классической филологией и философией. Он читал дипломную работу молодого Лосева «Мировоззрение Эсхила» и дал ей положительную оценку.

В конце концов, как рассказывал Лосев, он получил право на выступление в Религиозно-философском обществе. Здесь он сделал доклад о диалогах Платона «Парменид» и «Тимей». Таким образом, он был не только пассивным свидетелем деятельности русской религиозно-философской интеллигенции, но и активным участником тогдашнего процесса религиозно-философского возрождения.

Огромное влияние на Лосева оказали работы Владимира Соловьева, которого он считал самым крупным русским философом. Разработанный Соловьевым принцип «всеединства» Лосев пытался сам использовать в своих работах.

В статье «Лосев», опубликованной в третьем томе «Философской энциклопедии», характеризуя свои философские позиции этого времени, он пишет о своем кредо: *«В 20-х гг. пытался сочетать элементы неоплатонизма с диалектикой Гегеля и феноменологией Гуссерля. В дальнейшем, в 30–40-х гг., переходит на позиции марксизма»*.

Действительно, неоплатонический элемент занимает важное место в работах А. Ф. Лосева. Он постоянно обращался к сложному понятийному аппарату неоплатонической философии, и прежде всего к понятию «эйдос». Именно поэтому у него философское познание органически проявляется в художественной форме, гносеология перерастает в эстетику. Гегеля

---

<sup>11</sup> Лосев А. Ф. Послесловие // А. Хюбшер. Мыслители нашего времени. М., 1962. С. 316–318.

<sup>12</sup> Там же. С. 317.

Лосев прекрасно знал и мог по памяти цитировать его «Логику» или «Феноменологию духа». С работами Гуссерля Лосев ознакомился, будучи студентом Московского университета. В последующем интерес к феноменологии проявился в исследованиях Лосевым философской и эстетической терминологии. Что касается марксизма, то трудно сказать, относился ли он к нему серьезно, или использовал марксистские цитаты для адаптации к советской действительности. Думаю, что Лосев пытался найти в марксизме объяснение некоторых исторических и социальных процессов. Порой, правда, марксизм Лосева приобретал окраску социологии Дюркгейма. В этом Лосев шел иным путем, чем, скажем, Николай Бердяев. Последний увлекался марксизмом на раннем этапе своего творчества, но затем решительно от него отказался, хотя, по собственному признанию, он никогда до конца не мог преодолеть его влияние. Лосев, напротив, в молодости был совершенно далек от марксизма и проявил к нему интерес только в зрелый период своего творчества. Остается, правда, невыясненным, было ли это уступкой времени, или способом маскировки, некоторым идеологическим камуфляжем. Лично я полагаю, что А. Ф. Лосев серьезно относился к марксизму и пытался освоить его методологию.



## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.